ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 3

С. МСТИСЛАВСКИЙ

ПЯТЬ ДНЕЙ

НАЧАЛО И КОНЕЦ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН • ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА
1922

С. МСТИСЛАВСКИЙ

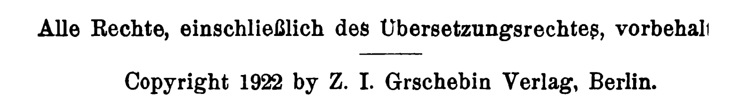
ПЯТЬ ДНЕЙ

НАЧАЛО И КОНЕЦ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Изд. 2-ое



ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА
БЕРЛИН • ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА
1 9 2 2



Типография H. S. Hermann, Berlin.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.

ФЕВРАЛЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ.

(27 февраля—1 марта).

«На плацу стреляют».

В первую минуту не поверилось. Однако, встал, подошел посмотреть.

Окна нашего так-называемого «штаб-офицерского» флигеля Николаевской Военной Академии выходили, по заднему фасу, на Суворовский плац, по ту сторону которого, за высокой стеной, через улицу, тянулись Преображенские казармы, временно занятые запасными баталионами Волынского и Литовского полков.

Но из окон ничего необычного не было видно. Погреб. Караулка. Поленицы дров. Заборы. Застыло на веревках развешанное белье. Плац, насколько хватает кругозору, — пуст: более пуст, чем обычно в ранние утренние часы, когда академики торопятся в манеж на первую верховую смену.

Я накинул шинель и вышел. Двойные тяжелые двери под'езда были приперты. Непривычно всклокоченный, ставший суетливым и вертлявым швейцар переминался на площадке.

— Лучше бы не ходить, ваше высокородие, стреляют. Казначей вышли — вернулись. Как за угол завернули, так по ним это—бах, бах, из пулемета что-ли, или как...

— Да что, в самом деле! Кому здесь стрелять?

Поистине. Ведь весь этот район города, по линии: Литейный — Бассейная — Суворовский, и дальше до Невы, заполненный казармами, военными учреждениями, госпиталями и складами, являлся настоящим «военным городком», который мы, работники революционных военных организаций, еще в далекие ныне девятисотые годы, при расчислении проектов вооруженного восстания, не надеясь на присоединение гарнизона, привычно считали естественным, так сказать, редюитом правительственной обороны, — последней и сильнейшей городской позицией правительственных войск. Именно потому, что здесь сосредоточена такая масса воинских частей: кавалергарды, конвойцы, 9-й запасный полк, жандармский дивизион, конная артиллерия, 1-я гвардейская артиллерийская бригада, преображенцы, гвардейские саперы, 18-й саперный баталион, Военная Академия, офицерская кавалерийская школа, и многое множество мелких команд... Опыт восстаний учит, что в районе своих казарм — тем паче в самих казармах — войска дерутся гораздо упорнее и охотнее. И теперь, в февральские дни, когда по всему городу, не исключая и центральных кварталов, невозбранно уже перекатывались волны народных толп, — здесь, в нашем «военном районе», очерченном колючею проволокою штыковых застав — было тихо: ни одного мятежного вскрика на улице, ни одной демонстрации...

И не далее, как вчера, обходя его в самый разгар демонстрации на Лиговке, на Знаменской, на Литейной — всюду видел я тесно-надежно сомкнутые спины заслонявших «редюит» рот. Вчера в первый раз стреляли по толпе на Невском. И после залпов

народ схлынул с улиц, как всегда. Оттуда — выстрелов не было. Не было боя. Кто же мог и какой силой сегодня прорваться на плац?

И вдруг, словно молотом, ударило неожиданное, невероятное, но все сразу, звуком одним раз'яснившее слово, тихим шопотом:

— Сказывают, волынцы взбунтовались.

Волынцы?!

. . . . .

Как только открылась дубовая, тяжелая дверь, сразу же явственно слышно стало беспорядочное, в перебой, хлопанье ружейных ударов. Оно казалось приглушенным, далеким. Подойдя к углу флигеля, я увидел, у входа в академическую канцелярию, через двор, с десяток дворников и служителей, жавшихся у стенки, жадно и испуганно смотря вглубь двора, на противоположный конец плаца. Там, далеко, у манежа и конюшен нашего эскадрона, у раскрытых ворот, выводивших к казармам волынцев, — сталкиваясь, собираясь в кучки и рассыпаясь снова, маячили, взмахивая руками, маленькие серые фигурки. Взблескивали стволы.

Кто-то там, у стены, поднял ладонь, предупреждающе и несмело. И тотчас почти (случайность?) — цокнула где-то у ног, задорно и озорно, по заледенелым булыжникам, на излете, шальная пуля.

Не успел я пройти половину расстояния, отделявшего наш флигель от главного корпуса Академии — стоявшие у стены внезапно шарахнулись и, толкаясь, стадом бросились в под'езд. Оглянулся: направо за церковью, где тянулись почти до самого манежа сосновые и березовые штабели, — пригибаясь к земле, припадая в ямы, за сорные кучи, за дрова,

бежали, ползли солдаты: без фуражек, иные без шинелей, в одних расстегнутых мундирах. Стрельба за дальней оградой, на Парадной, усилилась. Я вошел в опустелый академический под'езд.

В прихожей канцелярии, писаря и чиновники тесной толпой обступили четырех гусар нашего эскадрона и человек шесть запыхавшихся, тяжело дышавших преображенцев. Вахмистр, отрапортовав, рассказывал, уже «своими словами», дежурному штаб-офицеру:

— Пришли кучей: Шабаш, ребята, выходи на улицу. Люди вышли, как были, ни винтовок, ни шашек не взяли. Патронов — те-то — искали, не нашли. А цейхгауза не тронули.

— Пьяные? — кривит губы полковник.

— Никак нет. В себе народ, как есть.

— Эскадрон весь вышел?

— Все, без спору, окроме нас четверых.

— Ну, спасибо за службу. Куда же нам вот преображенцев девать?

Раз'яснилось: когда волынцы вышли и двинулись снимать соседние баталионы, ближайшая к ним команда преображенцев, накануне бывшая на усмирении, разбежалась, опасаясь расправы. К ним присоединились и те — волынцы, литовцы, преображенцы, — что вообще «напугались скандалу», как об'ясняли они нам потом в академическом подвале. «Статочное ли дело: господ офицеров, слова не говоря — до смерти... За это ведь отвечать надо».

Беглецы бросились на наш плац, сначала в манеж, а затем, когда волынцы и литовцы ворвались в ворота, — дальше к Таврической и Суворовскому музею.

Часть укрылась в здании Академии, куда, до них еще, «спаслось» несколько офицеров тех же восставших полков.

— В подвалы их, что-ли?

— Надо с осторожкой, — говорит вахтер Платоныч, поводя лисьим, рыжим, словно вынюхивающим лицом. — Найдут, разнесут всю Академию. Лучше бы в типографию, в бумажную кладовую.

Затесавшийся сюда же метранпаж, высовываясь из-за припомаженных писарских голов — протестует визгливым фальцетом: и прятаться в кладовую плохо, и вход в типографию прямо с плаца. Но Платоныча привыкли слушать в делах хозяйственных: преображенцев сдают метранпажу — для размещения за бумажными кипами.

В профессорской сумрачно, до жути. Даже ходят тихо, сдерживая звон шпор. Нахмуренные. Все молчат. Только один из самых древних наших генерал-лейтенантов бубнит, тряся седыми бакенбардами, упрямо, словно споря, хотя никто ему и голоса не подает:

— Пустяки. Вернутся. Вернутся и покаятся. Куда им идти?.. А? Вот именно: куда им идти?

И в шестой раз нажимает кнопку звонка в офицерское собрание:

— Что же они там .... гм .... чаю не несут?

Чиркая по паркету сбившейся на каблук шпорой, быстро и взволнованно входит дежурный офицер.

— Преображенцы подняли на штыки Богдановича.

Кто-то перекрестился. Заведующий хозяйством, младший из нас и по кавалерийски откровенный,

хмуро оглядывает осевшие по всем углам генеральские плечи:

— Ну-с, если найдется у них теперь прапорщик с головой — наделают они дела...

. . .

Пойти было некуда.

Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев, спящими.

Теперь, через пять лет, непонятным кажется, как можно было в наростании февральской волны не почувствовать (не говорю уже «осознать») надвигавшейся бури: ведь к этим дням многие из нас готовились годами — долгими годами царского подполья, напряженной, жадной, верящей мыслью... И когда пришла, наконец, она, — долгожданная, желанная:

— Некуда было идти.

Уверен: когда исполнятся времена и сроки, и станет на очередь «история февральской революции», — найдутся очевидцы и участники, которые засвидетельствуют о прозорливости каких-нибудь комитетов, о каких-нибудь совещаниях, и за взмывами рабочей и солдатской «толпы» постараются привычным жестом историка подставить фигурки каких-нибудь «героев». Так было, так будет. Ведь даже по горячему следу, — когда тотчас, после переворота «Союз офицеров 27 февраля» попытался установить ход событий, запросив по полкам участников февральского восстания, — мы получили на вопрос о том, кто первый вывел Волынский полк — семь заявлений — семи приписавших себе этот начальный для февральского переворота акт. Семь описаний выхода волынцев, ни в чем почти не сходных друг с другом. Поставленный в необходимость (по дол-

жности тов. председателя Союза) — разобраться в семи свидетельствах этих, — я успокоился на уверенности, что полк вывел, в действительности, кто-то восьмой, безымянный, — заявления нам, как и должно было ожидать, не приславший.

И это было в дни, когда переворот, во всех подробностях своих, еще жил перед нашими глазами, когда можно было проверить каждое слово. Что же будет писаться через годы, когда уже мохом поростут могилы февральских убитых...

Но на деле — кроме кружков, варившихся в собственном соку или, еще того хуже, в военно-патриотических восторгах, социалистические партии тех дней не имели ничего. И пойти было некуда...

На улицу? В «очевидцы»?

Дома — найдут скорее.

Суворовский плац остался водоразделом. «Передовые части противника» — несколько солдат с винтовками, без подсумков и даже поясных ремней, в расстегнутых шинелях — дошли только до караулки — на полпути от Манежа к главному зданию Академии: в самое здание не заходил никто. Профессора и слушатели разошлись по домам, сдав, в большинстве, шашки на хранение в Академический музей, так как получено было известие, что на улице разоружают офицеров.

Стрельба на Парадной и Кирочной смолкла: уже часа три не слышно было ни одного выстрела. На Суворовском попрежнему было безлюдно и тихо, и попрежнему, перед самыми нашими окнами, на углу проспекта и Таврической, у Сберегательной кассы (в помещении которой сегодня в ночь — упор-

но говорили в Академии — состоялось революционное совещание, на котором был «сам» Керенский) — стоял, переминаясь, зазябший Преображенский пикет.

Только около часу дня зазмеились по тротуарам, просачиваясь от Невского и Бассейной, вереницы прохожих: здесь, там, — у ворот и под'ездов стали накопляться кучки, настороженные, ждущие. Мелькнули, наконец, первые солдатские шинели. Солдаты шли вразброд, без оружия, отжимаясь к стороне и словно стесняясь любопытных взглядов останавливавшихся, обертывавшихся к ним прохожих...

К пикету подошла смена. По уставному. Солдаты подтянулись, построились. Разводящий отдал команду... Но в тот же миг кругом сгрудилась, неведомо откуда, сразу наросшая толпа. Заслонила. И когда она рассыпалась снова — пикета уже не было: двое «вольных» вели под руки, махая шапками, молодцеватого ефрейтора с георгиями, а над головами расходившихся — победными трофеями взметывались отданные винтовки.

Словно ждала этого улица. Ожила, затопотала сотнями ног. Закружились, засвистали целыми роями высыпавшие из переулков, из-за ворот на мостовую, на самую ширь улицы — подростки. Перехватили одинокого, уныло тянувшегося извозчика, с двумя седоками: военным врачем и штатским. Кричат в перебой. Врач встает в санях, с трудом протаскивает сквозь прорез пальто жиденькую погнутую железную шашченку, отдает толпе и сам что-то кричит и смеется. Толпа отвечает радостным гулом, расступается, и извозчик трусит дальше.

Бичом стегнул по напрягшимся нервам пронзительный, дерзкий, долгий автомобильный гудок. Мгновенно разбрызнулась по тротуарам шумевшая посреди улицы, на трамвайных рельсах, летучая сходка и — стоголосым победным ревом дрогнули стекла: крутым виражем, сворачивая с Суворовского на Таврическую, проносится под нашими окнами синий, императорскими золотыми орлами на дверцах тускло мигнувший лимузин, с красным, бешено бьющимся о древко флагом у руля, весь переполненный вооруженными. Матросы Гвардейского экипажа. Кричат. Машут... За первым почти тотчас второй, такой же нарядный и страшный.

А навстречу, уже от Таврического, грузно и грозно, еле ворочая цепями передач, проползает грузовая платформа, вся ощетинившаяся штыками. Солдаты, рабочие, студенты, женщины... Передний ряд, навалившись на плечи шофферов, держит ружья на изготовку.

Весь зачернел людьми Суворовский проспект. В Заячьем переулке, на-перекосок от Академии, идет митинг. Выпряжена ломовая телега, и с нее, высясь над головами, пошатываясь на зыбком помосте, сменяют друг друга ораторы — в картузах, шапках, котелках и просто длинноволосые... Прошли с Таврической, шаркая туфлями по снегу, в арестантских халатах, кучкой, — десятка три женщин. На Суворовской рассыпались: прощаются... Из наших ворот, попрежнему без шапок и шинелей, крадучись, выбираются на проспект, вмешиваясь в толпу, спасавшиеся у нас преображенцы.

Жена возвращается из города: всюду то же. Автомобили и толпы. Разбит арсенал. Говорят, одних браунингов разобрали по рукам несколько десятков тысяч. Стрельбы по улицам много, но все зрящая: палят больше подростки — у них у всех почти револьверы...

«Видел женщин? Уголовные из Литовского. Тюрьмы открыты».

А на углу бурлит мертвой зыбью на месте густая, радостная, все наростающая толпа...

Затаившись за выступом дома — резко, во весь свист подал сигнал подросток. Оглянулись на Таврическую: все разом. И хлынули, давя друг друга к панели; буравя отбегающую толпу, пробираются вперед, щелкая затворами, вооруженные... Студенты, рабочие... Рассыпаются в цепь поперек Таврической.

Но снова кто-то кричит и машет. И снова — возбужденно, призывно колышась, отзывается толпа Дула опускаются. К цепи, на раскормленном могучем, ширококостном караковом жеребце, горяча его, под'езжает солдат артиллерист, салютуя широкой блестящей офицерской шашкой.

— У-ра-а-а!

К солдату теснятся. Придерживаясь за стремя вприпрыжку провожают его сквозь толпу ребятишки. Взлетают вверх шапки. Исступленно палят в воздух на тротуарах подростки. Медленно, пляшущим шагом едет солдат, красуясь, выгибая шею коню мундштучным железом...

Должно быть, выступила гвардейская артиллерия...

Вечереет. Тише на улице. Таврическая запружена людьми: тянутся ко дворцу.

. .

Дрогнул в кабинете телефонный звонок.

«Товарищ Мстиславский? Говорит Капелинский»

Капелинский — меньшевик-интернационалист. Секретарь петроградского союза рабочих потребительных обществ, председателем правления (а затем тов. председателя Совета) которого я был в военное время, между прочими делами. Он был арестован месяца полтора-два назад, при ликвидации рабочей группы центрального военно-промышленного комитета, лидеры которой — Богданов, Гвоздев, Бройдо были в то же время наиболее активными работниками правления и нашего союза: по связи с ними, был «приобщен к лику» и Капелинский.

Раз он на свободе — значит «Крестов», действительно, нет.

— Сейчас же приходите в Таврический, комната № 13. Ну, дождались, кажется! Смотрите только: скорее.

— Иду.

Вешаю трубку. Иду собираться. Штатское пальто поверх френча: прикрыть погоны от недоразумений на улице.

Опять трещит звонок:

— Это я, Капелинский. Может быть, прислать автомобиль? Мы ведь сейчас не как-нибудь...

— Не стоит: тут два шага.

Темным кажется приземистый, распластавшийся по земле Таврический дворец, — хотя весь он, от окна до окна, горит огнями; зловеще светится на тусклом ночном небе его стеклянный купол. На площадке перед дворцом и на улице — трещат костры. Грузовики, автомобили, толпы солдат и вольных. Море голов — во все стороны, куда ни взгляни. Справа, слева, из-за насупленных, тесно обступающих нас домов и труб, поднимаются к небу крутыми, колыхающими извивами багряные столбы... Горит Окружный Суд, горит Жандармское Управление на Тверской, горит каланча на Старо-Невском.

У ограды и, в особенности, у под'езда дворца сильные солдатские караулы. Вход — только по мандатам заводов и воинских частей и специальным пропускам. Но проламываются в давке и «безбилетные». Проламываюсь и я.

«13-я комната. Направо по коридору».

Сворачиваю и натыкаюсь на Соколова, — известного всему политическому Петербургу, «Николая Дмитриевича», защитника по революционным делам и всегдашнего устроителя всяческих общественных совещаний. Он ухватывает меня под руку. «Идемте скорее, собрались делегаты от восставших полков, надо организовываться, надо действовать. Часть войск осталась на стороне правительства, в городе идут уже бои».

Делегаты (один вольноопределяющийся, один фельдфебель, все остальные — простые рядовые, «бородачи») чинно сидят вдоль стенки, без оружия. Соколов спрашивает, что нужно нам для «штаба».

Прежде всего, план Петербурга.

— Откуда его возьмешь?

— Из Суворинского «Всего Петербурга»: здесь в Думе где-нибудь наверное есть.

Соколов уносится (всегда быстрый, сегодня он — точно на крыльях) искать план. Мы начинаем, взаимным опросом, выяснять обстановку.

Нельзя сказать, чтобы она была особо радостной — со «штабной» точки зрения. Правда, численно — на стороне восстания безусловное большинство. Прилегающие ко дворцу «военные кварталы» поднялись целиком — только о 9-м Запасном кавалерийском сведений нет: человек 15 конных этого полка здесь, во дворе Таврического; но что со всем полком сталось — они не знают. Кроме волынцев и литовцев вышел гвардейский экипаж, вышли егеря, павловцы, лейб-гренадеры, московцы, преображенский баталион (что стоял на Кирочной, о втором, — на Миллионной, — ничего не известно), саперы, гвардейские артиллеристы. Только учебные команды большинства названных полков остались в казармах, отсиживаются и даже отстреливаются при попытках «вольных» проникнуть за ворота. Нет финляндцев: по некоторым сведениям они не примкнули и держат Тучков мост, часть Васильевского Острова и Петербургской Стороны. Конные полки и казаки либо нейтральны, не выходят из казарм, либо у Хабалова. Петропавловская крепость молчит, но не за нами: на стены выставлены полевые орудия, наведены на мост, но огня не открывают. Флотские экипажи на Крюковом Канале заперты в казармах, казармы оцеплены, так что матросы едва ли знают даже толком, что на самом деле в го-

роде делается. Нет военных училищ, нет пеших дружин, расквартированных по окраинам... ну, да ополченцы наверное покидали уже ружья...

Сколько войск у Хабалова, какие именно части и где они — в точности не знает никто. На Сенатской площади какие-то войска в строю: пехота, эскадрона два кавалерии, батарея: очевидно, не наши, так как «наших» в строю нет, ни единой роты — все распылились. На Дворцовой — тоже войска: там, повидимому, главная квартира Хабаловцев. Морская — за ними, но телефон, видимо, нейтрален, так как отвечает на вызовы с Таврической. А может быть, это и нарочно делается, для осведомления: ведь свои сведения «они» могут передавать по военно-полицейским проводам...

Что делается на вокзалах — неведомо.

Если к сведениям этим приложить трафаретный военный масштаб — положение наше катастрофично. Правда, Хабалов сделал коренную, грубейшую ошибку, оттянув свои войска в самый центр города, т.-е. дав «мятежу» охватить их со всех сторон, вместо того, чтобы вырваться как можно скорее из «заразной зоны» за городскую черту, притянуть подкрепления и, изолировав «очаг мятежа», каковым сейчас является Петербург, перейти затем в планомерное концентрическое наступление. Такой метод действий давал правительствам в прошлой истории восстаний неизменно твердый и быстрый успех. В городе же революционная атмосфера разбивает правительственные войска вернее всяких баррикад... На нее, и в нашем случае, приходилось возложить все надежды. На... «стихию». Только.

Но... подлинно ли в городе революционная атмосфера?.. Я вспомнил утренних преображенцев, вспомнил толпы безоружных солдат, бродящих по городу, палящих в воздух подростков и беспутно мечущиеся по улицам автомобили. Если бы у нас была хоть одна спаянная, сохранившая строй часть... Ни артиллерии, ни пулеметов, ни командного состава, ни связи. Из офицеров, кроме старшего лейтенанта Филипповского — старого товарища по эсэровской военной организации еще девятисотых годов, пришедшего минут через 15 после меня, — во дворце нет никого. Был какой-то капитан стрелкового армейского полка, послушал, послушал нашу сводку, покачал головой и пошел...

— Пропадешь тут с вами... Как кур во щи...

.

Днем попытка Хабалова продвинуть какие-то части, против волынцев, к нашему «городку» разбилась о задержавшие движение уличные толпы: действовать оружием офицеры не решились. Но на ночь толпы разойдутся, не будет на пути живых — пусть безоружных, но восставших, подлинно восставших — рабочих застав. Останется войско против войска. И в поединке этом — на нашей ли стороне сила?

В ночь правительственные войска должны перейти в наступление, если там, в том стане, хоть у кого-нибудь голова на плечах. Конечно, Хабалов только покроем штанов похож на Галифе и больших военных талантов за ним не числится: но в штабе-то у него может же найтись «прапорщик с головой». А если найдется, — с чем встретим мы неприятеля?

Дворец заполнен солдатами. Но пытаться сорганизовать их и вывести в строй, — отказываются сами же депутаты. Люди измаялись за день, большинство не ели с утра.

«Только на свету, народом держатся...»

Оторвать их от этого «света и народа», двинуть в жуткую мглу улиц, в сумрак застылых пустых вокзалов, выслать их в разведку, сторожевое охранение — лучше не пробовать.

— «Зря и их, и себя бередить», — качают головами депутаты. — «Измаялся за день солдат. Опять же, для многих непривычно, так-то, налегке, без присяги...»

Да и сами депутаты определенно тянутся от «штаба»к «Совету Рабочих и Солдатских Депутатов», заседание которого должно вот-вот открыться в соседнем с нами зале. Иные так и говорят: «мы не к вам, мы в Совет посланы». Та же тяга — к «свету и народу». Да и накипело у них, хочется других, не военных слов.

Что же, может быть, они и правы...

А все же надо ударить на Хабалова раньше, чем он ударит на нас.

Наша комната понемногу заполняется собирающимися на заседание Совета... В соседней комнате уже не продохнуть. Много рабочих, но много и интеллигенции, различных «левых» оттенков, и просто даже «корреспондентов». «Рабочая группа» вся налицо: ей, вместе с социалдемократическими депутатами Думы — Скобелевым и Чхеидзе — естественно первый голос: они — хозяева. Из «крайних

левых» вижу только большевика Шляпникова и эсэра Александровича, да двух-трех «по конспирации» знакомых рабочих.

Перебегает от группы к группе распорядителем кажущийся Соколов; разлетающиеся от порывистых движений фалды его распахнутого сюртука кажутся особо нелепыми в этой напряженной обстановке. (План, к слову сказать, он нам принес — чуть ли не из кабинета «самого» Родзянки).

Нас просят перейти: под «штаб восстания» отведены комнаты № 41 и 42 — в противоположном крыле дворца: кабинет товарища председателя Государственной Думы (Некрасова) и смежный зал. Туда будут направлять и сведения и людей, особенно офицеров... буде таковые явятся...

Но войсковые депутаты уже вмешались в толпу ожидающих открытия заседания Совета; иду один в Некрасовский кабинет.

* *

Просторная, пустая комната. Ярко, во всю гроздь своих лампочек горит люстра. За письменным столом, под стоячей, тоже зажженной лампой, — Керенский, в сюртуке, со с'ехавшим на бок галстухом, подписывает подаваемые ему кем-то, незнакомым мне, в пиджаке и косоворотке, бумажки, — отчетливо с размаха прищелкивая их штемпелем пропуска.

Мы пожали друг другу руки. Я сел насупротив, на свободный стул.

Человек в косоворотке принял последнюю бумажку и вышел.

— Ну, что, Сергей Дмитриевич, мы, кажется, дожили-таки!

Он порывисто и весело встал, потянулся весь вверх, словно расправляя затекшие члены, и, вдруг расхохотавшись, задорным мальчишеским жестом хлопнул себя по карману, засунул в него руку и вытащил старинный огромный дверной ключ.

— Вот он где у меня сидит, Штюрмер. Ах, если бы вы только видели их рожи, когда я его запер!

Снова принесли на подпись пачку пропусков. Керенский подписывал, не читая, размашисто расчеркиваясь и продолжая рассказывать об аресте Штюрмера. «Что было с Родзянкой! Ведь он совсем было расположился принять его в родственные об'ятия»...

Вошел Некрасов — как всегда непроницаемо-благодушный, медлительный, округлый, глянцевитый и прочный. Улыбнулся, поздоровался, сказал пару незначительных фраз и увел Керенского за собою.

В соседней комнате гудели голоса. Открыв дверь, я увидел Филипповского, окруженного десятками двумя офицеров разных родов войск, по преимуществу прапорщиков. Молодые, радостно возбужденные лица... Начало, стало быть, есть.

Быстро разверстываемся. Филипповский принимает на себя комендатуру Таврического дворца и с частью офицеров приступает к подготовке его обороны, «на случай»... Мне приходится заняться действиями вне дворца, в городе...

Среди явившихся во дворец офицеров — «местных», здешних нет ни одного: все — фронтовики, прибывшие в Петербург в отпуск или командировку. Поэтому связи с полками у них нет. Тем не менее, при их помощи, формирования начинают как будто

налаживаться. Действуем так: офицер получает задание, идет к солдатам, скопившимся в залах дворца, или даже на площадку перед дворцом и вызывает охотников: «Вандейская система» — так во время Вандейского восстания действовали роялисты. Этим способом удается составить и выслать прежде всего команды на Николаевский и Царскосельский вокзалы и разведки — по главнейшим направлениям. На дальние вокзалы пока не посылаем — все равно не дойдут... С Финляндского совершенно неожиданно звонит военный врач, по собственной инициативе занявший его еще днем со сборным отрядом из солдат и рабочих. Доносит: в районе тихо. Однако, просит подкреплений: такова сила «традиции».

Подбирается ударная группа под командой поручика Петрова — помнится, стрелка — с тремя георгиями и золотым оружием. Смелый, крепкий, — смотреть радостно. Он привел с собой в Таврический целую команду, с которой, еще в прошлую ночь, т.-е. до выступления волынцев, перестреливался до самого утра с Павловской учебной командой, через Марсово поле, залегши на Лебяжьей канавке, что у Летнего сада. Команда эта быстро обрастает людьми, и когда мы получаем первое тревожное известие об обратном занятии противником арсенала, — мы имеем уже возможность двинуть к нему Петрова с полутора стами штыков.

В район Морской высылается усиленная разведка: 30 коней, броневик, взвод пехоты, под командой офицера-кавказца.

Солдаты вообще выходят охотнее, чем мы ожидали. Но требуют обязательно форменного пись-

менного приказа. У Совета, естественно, никаких штемпелей. Пишу, поэтому, приказы на найденных в письменном столе печатных бланках «Тов. Председателя Государственной Думы»: штемпель большой, бумага плотная, атласная, внушительная.

Внутренняя организация наша также, как будто, понемножку начинает налаживаться. В одной из комнат нашего крыла — крайней к вестибюлю, устроили склад оружия: его сносят во дворец целыми охапками. Под наблюдением офицера-артиллериста сортируют винтовки, револьверы, патроны, несколько девушек- доброволок и студентов приспособлены к снаряжению пулеметных лент. Пулеметов у нас, впрочем, в данный момент всего четыре, да и те — к стрельбе непригодны. Необходимо смазать их, а смазать нечем. Посылаю одного из прикомандировавшихся к штабу «вольных» в ближайший аптекарский магазин за вазелином. Юноша исчезает. Ждем-ждем: посылаем второго — как камень в воду. Наконец, возвращается первый, сконфуженно вертя в руках серебряный рубль.

«Поздно: магазины все заперты».

«Революционер» — в критический момент восстания стоящий, с целковым в руке, перед запертой дверью, конфузясь разбудить хозяина... не то, что дверь сломать.

«Вот бы с вас картину написать — в мавзолей российской интеллигенции»...

.   .

Беспрерывно приводят арестованных. Сначала доставляли только одиночных; к ночи — стали сгонять целыми табунами: жандармы, офицеры, охранники, городовые, министры. Гуськом прошел

весь состав петербургского жандармского управления, с генералом во главе, с ротмистрами в конце, по чину и здесь, как на Тверской было. Какие-то не в меру усердные шутники притащили старого-престарого, пришепетывающего колченогого отставного генерала: никак он не мог понять, что случилось, и кашлял о пожаре и пенсии, пока мы не разобрались в «шутке» и не отправили его домой. Солдат одного из восставших полков привел под арест отца-городового: «тут целее будет, а в городе — неровен час...» Действительно, приходилось удивляться выдержке арестовывавших: эксцессов не было — даже жандармов доставляли — как были, с иголочки, даже с непомятыми воротничками...

Только один раз, за всю эту ночь, в течение которой сотни арестованных прошли по нашему коридору, — пахнуло в воздухе кровью. Около штаба упорно толокся какой-то весьма представительный по наружности, с длинными выхоленными бакенбардами, хорошо одетый штатский. Заметили, что он записывает что-то в уголку. Показалось подозрительным: задержали. При обыске нашли оружие, крупную сумму денег, и — служебное удостоверение жандармского полковника охранки. Охранник «при исполнении служебных обязанностей» — здесь, в самом «гнезде бунта»! Весть быстро разнеслась по дворцу. У нашей двери, под гневный рокот мгновенно наросшей толпы, уже звенело оружие... И все же, нескольких слов достаточно было, чтобы, смолкнув, разомкнулись ряды — пропустив арестованного и конвоиров...

«Так, господа, нельзя...» — налетает на нас кто-то из думских (лицо знакомое, фамилии не помню).

«Что это за штаб, в котором могут шпионы прохаживаться? Это нарушение элементарных правил»...

Мы оглядываемся на наши комнаты: воистину, — толчея. С того часа, как вход во дворец закрыли для «толпы» и стали пропускать «по выбору» — нижние залы переполнились людьми «общественного Петербурга», и просто «знакомыми»... И каждый такой посетитель, вплоть до последнего репортера — непременным долгом своим почитал заглянуть к нам, в комнаты «штаба» и — посоветовать:

«Отчего вы до сих пор не захватили воздухоплавательного парка? Здесь, в Петербурге, где-нибудь наверное есть. А это, знаете, очень важно: аэропланы...

«Отчего вы не прикажете улицы перекопать, чтобы броневики не могли проехать? У Хабалова сто броневиков: сегодня вечером в редакции сообщали. Точно.

«Отчего вы до сих пор не взорвали военно-полицейского телеграфа? Это очень просто: динамиту в тумбу и — раз! Тут, около дворца, как раз есть такая тумба.

«Штурмуйте крепость. Ведь, если зайти с Невы, прямо к воротам...»

. . .

А и в самом деле — не припереть ли двери. Не от шпионов, а от советов.

. .

Запирать двери, впрочем, не приходится. Ночь близка, по коридорам бегут тревожные слухи о начавшемся будто бы наступлении Хабалова. Посторонние — начинают торопиться. На прощанье, однако, заходят: «еще раз». «пожелать»... Зна-

чительно жмут руки. Пытливо смотрят в глаза. И — выпрямив грудь — уходят: все скорее, скорее, скорее...

Становится просторно. Даже... слишком просторно.

* * *

Ровно в полночь, в 42-й комнате распахнулась внутренняя, «посторонним неизвестная» дверь и, к нашему немалому изумлению, на пороге появился... Родзянко. За ним — полковник Энгельгардт, в штатском, и еще какой-то думец. Секунду спустя, через 41-ю комнату подоспел Соколов и человек пять «советских». Родзянко, грузный, развалистый, хмурый, держал в руках какую-то бумагу. Он непривычно нервничал. Подойдя к ближайшему столу, тяжело сел, заваливши плечи на локти. Против него тотчас же занял место Энгельгардт, а мы все, бывшие в зале, на властно-пригласительное мановение головы Родзянко окружили стол тесным кольцом.

«Господа офицеры», словно нехотя, выжимая из себя слова, заговорил Родзянко, пренебрежительно скользя глазами по прапорщичьим, преимущественно, погонам «штаба». — «Временный Комитет Государственной Думы постановил принять на себя восстановление порядка в городе, нарушенного последними событиями. Насколько восстановление это в кратчайший срок необходимо для фронта, вы и сами должны понимать. Комендантом Петрограда назначается член Государственной Думы, полковник Генерального Штаба Энгельгардт».

Энгельгардт, при этих словах, покраснел и, полуоборотом наклонив голову, не вставая, раскланялся.

Резко вмешался Соколов: «Штаб уже сложился, штаб уже действует, люди подобрались... При чем тут полковник Энгельгардт!.. Надо предоставить тем, кто работает здесь с первой минуты восстания — самим решить — кто, чем и кем будет командовать: тем более, что дело сейчас не в водворении порядка, а в том, чтобы разбить Хабалова и Протопопова. Тут нужны не «назначенцы» от «Высокого Собрания», а революционеры. И потом, совершенно недопустимо, чтобы Петроградский Совет, являющийся в настоящее время единственной действительной силой, Совет революционных рабочих и восставших солдат, оказался совершенно отстраненным от им же созданного и его задачи осуществляющего штаба. Совет уже выделил в штаб группу своих членов: если Врем. Комитету угодно принять участие — пожалуйста, но большинство в штабе, и большинство решающее, должно безусловно принадлежать Совету».

Энгельгардт краснел все больше и больше. Офицеры заволновались. Но Родзянко, досадливо и попрежнему пренебрежительно морщась, грузно стукнул ладонью по столу: «Нет уж, господа, если вы нас заставили впутаться в это дело, так уж потрудитесь слушаться».

Соколов вскипел и ответил такою фразою, что офицерство наше, почтительнейше слушавшее Родзянку, — забурлило сразу. Соколова обступили. Закричали в десять голосов. Послышались угрозы. «Советские» что-то кричали тоже. Минуту казалось, что завяжется рукопашная.

Не без труда мы разняли спорящих:

«Стыдно, в такие часы. Не все ли равно кому «командовать»: было бы дело сделано... Что за местничество»...

А Соколову шепнули: «Энгельгардт так Энгельгардт — кому от этого убыток: пусть числится — дела мы все равно из рук не выпустим. А вы пока там договаривайтесь с Думцами, если хотите. Только не здесь».

Родзянко тем временем выпростал из ручек кресла свое оплывшее тело и, отдуваясь, направился к выходу. Следом за ним вышел и Энгельгардт. Их торопливо нагнали... некоторые из офицеров нашего штаба. Сказать по правде: больше половины. Некоторое время из коридора, у двери, слышались их голоса... Затем голоса стали удаляться... Никто из них уже не вернулся в эту ночь в штаб.

«Что за Энгельгардт? Откуда взялся?» — спрашивали друг друга оставшиеся фронтовики.

Изо всех – только мне одному было достаточно известно это имя, так как Энгельгардт кончал Академию Штаба уже в мое время. Он был офицером гвардейского уланского полка, держал скаковых лошадей, «фуксом» брал иногда призы на гладких скачках — и никогда на стипльчезах, жил расчетливо-широко и имел крупные связи. Самую Академию он окончил по «настойчивой» протекции вдовствующей Императрицы Марии, так как по наукам был сугубо слаб. В Государственной Думе, куда он попал в качестве крупного агрария, числился октябристом. Таков весь его некролог: говорю

«некролог», так как сколько бы он ни жил — к этим данным он ничего не прибавит.

Посмеялись, посудачили и разошлись по своим местам, как если бы ничего не случилось.

Разведки не возвращались. Зато во множестве стали поступать добровольными вестовыми приносимые из разных районов донесения: они говорили, как будто определенно, о нарастающей активности противника: широким полукольцом вокруг нас, от Старо-Невского по Лиговке и почти до Литейного моста обозначились его пулеметы. Наиболее тревожными были два донесения. Одно — с Выборгского шоссе: расквартированные там близ железнодорожного полотна, на полпути к Удельной, самокатные команды обстреляли рабочих Айваза, подошедших к казармам с красными знаменами. Рабочие дважды пытались штурмовать, но были отбиты с большими потерями: требовалась помощь. Второе — с Лиговки, от угла Чубарова переулка, где обнаружено было сильное пулеметное гнездо. Бродившие по Лиговке солдаты попробовали захватить его с разбега, в лоб, но гнездо не далось. Прибывший с места боя солдат уверял, что потери доходят уже до 80 человек, но солдаты ни за что не хотят отходить, и требовал подкреплений. Я немедленно отправил «очередного», дожидавшегося наряда прапорщика в Екатерининский зал — «кликнуть клич», а пока люди собирались, стал раз'яснять солдату — как надлежит, согласно тактике штурмовать подготовленные к обороне дома. Солдат слушал, благодушно ухмыляясь. И, когда я кончил —

«Никак нет, ваше высокородие. А просто там больше ратники: не выдерживают пулемета. Ежели нам да десятка три фронтовиков, которые из бывалых: как языком слизнем! А с обходами, да проломами, — с эдакой гнидой, фараонами, прости Господи!.. Ногтем прижал, да о голенище вытер»..

Ночь сказывается. Отдельные, по городу разбросанные, опорные пункты наши явно начинают нервничать. Телефон звонит, не переставая. Множатся вестовые. Отовсюду требуют подкреплений. Донесения все чаще носят явно фантастический характер.

Доктор звонит с вокзала: подходил неприятельский раз'езд, отошел после перестрелки. По слухам, на вокзал двигается пехота. «Подкреплений, подкреплений...»

С Загородного вернулась разведка (автомобиль): с Царскосельского вокзала ее обстреляли пачками.

Из егерских казарм доносят: на казармы ведет наступление какая-то часть, по насыпи царской ветки...

С Николаевского вокзала требуют подкреплений. Опять! Мы послали туда уже четыре команды, и... ни одна из них не дошла: расходятся по дороге...

А формировать новые отряды становится все труднее: люди, уставши за день, полегли спать: на площадке у костров никого, кроме часовых. Прилива из города нет: забредают только «охотники за черепами», как зовем мы их: одиночные люди, «охотящиеся» за городовыми, охранниками, и

время от времени появляющиеся во дворце—сдать снятое с убитых оружие и погреться.

В наших комнатах — почти пусто: офицеры все в разгоне, осталось два прапорщика всего: держу их на крайний случай.

Ждать его недолго: к огромному винному (казенному) складу, близ Таврической, скопляется тысячная толпа. Если склад разобьют, восстание захлебнется в водке на смерть.

«Триста штыков к складу: рабочие и солдаты вперемежку, при обоих последних офицерах. Приказ категорический: действовать оружием, в случае покушения на склад — безо всякой пощады. Если кто-нибудь из команды дотронется до бутылки — расстрелять на месте».

К четырем часам возвращается ушедшая к Дворцовой площади усиленная разведка. Дальше Морской продвинуться не удалось: близ телефонной станции она попала под пулеметный обстрел из подвалов: броневику перебили шины, он сел и брошен командой, шоффер убит, пехота разошлась, драгуны, потеряв двух коней, вернулись с донесением..

* * *

Люди приходят, уходят, сменяются. Требуют нарядов, приказов. И я пишу их листок за листком, без счета, все на тех же думских бланках. И чудится, — словно в крутящийся вихрь какой-то вы-

брасываю я эти жалкие, никчемными знаками исчерченные, ничего не меняющие, бессильные лепестки.

Те, что получают приказы — не выполняют их; те, что действуют, — действуют без приказа...

Бывало ли, в дни революции, когда-нибудь иначе?

Шестой час. На «передовых позициях» наших угомонились, видимо: новых донесений нет, телефоны отвечают вяло. Признаков Хабаловского наступления — никаких: должно быть ему еще круче нашего... Пользуясь передышкой, выхожу посмотреть, что делается во дворце.

Коридоры завалены сплошь, по обе стенки сонными телами. Солдаты, солдаты, солдаты... Спят, с винтовкой под рукой, в повалку, как на случайном биваке во время трудного перехода. В Екатерининском зале — дышать трудно. В складе работа кипит: грудами лежат патроны, винтовки, револьверы — подсчитаны, ведется опись.

У Филипповского — все в порядке. Пулеметы наши взгромоздили на крышу: для внушительности, потому что стрелять они, попрежнему, не могут. На улице, хоботами к Литейному, выстроены четыре орудия: эти — в исправности. И гранаты, и шрапнели к ним — в достаточном количестве.

В горле сухо. Говорят, где то есть питательный пункт. Но где его искать?

Наискось от наших комнат — комната Думцев: на диванах, креслах, столах, на полу даже, спят в причудливейших позах «политики» — знакомые и незнакомые. Керенский, разметав фалды сюртука,

широко раскрыв рот, прихрапывает, изогнувшись на маленькой, кривоспинной козетке.

Опять задребезжал в 41-й телефонный звонок.

* * *

Часов около одиннадцати утра, когда давно уже снова гудел, как вспугнутый улей, проснувшийся дворец — появился Энгельгардт. На этот раз в форме Генерального Штаба. Мы не ждали «коменданта» так рано: неужели у Хабалова так плохи дела?

Впрочем, с первых же слов выяснилось, что претендовать на «вступление в должность» он пока не собирается: дело ограничилось взаимной и довольно сдержанной информацией: думские сведения оказались настолько детальными, что невольно мелькнула недобрая мысль: вместо того, чтобы гонять разведки по городу, не проще ли было бы... попросить Родзянку или Энгельгардта... лишний раз позвонить в градоначальство.

Энгельгардт сообщил, между прочим, что Хабалов со своими войсками был сначала в Адмиралтействе, а потом перешел в Зимний дворец. Во дворце ночевал Великий Князь Михаил Николаевич, можно думать, что он окажет воздействие на Хабалова, в смысле удержания его от бесполезного, в создавшейся обстановке, сопротивления. В строю у него всего около 5 эскадронов и сотен, четыре роты и две батареи. По тем же думским сведениям, царскосельский гарнизон, равно как и расквартированные у Стрельны и Ораниенбаума части примкну-

ли к движению, так что быстрой помощи Хабалову ждать неоткуда.

Если так — надо кончать. Воспользовавшись присутствием двух «советских», из числа делегированных в наш штаб, отзываем их в соседнюю комнату; решаем: дабы не вводить войска в Зимний дворец с боем, — что может повести к некоторым «нежелательным последствиям» — занять первоначально Петропавловскую крепость и, угрозой обстрела дворца с верков, принудить Хабалова «выйти в поле», где с ним быстро можно будет покончить.

Начинаем формировать отряд. Перед отправкой — захожу в 41-ю, где оставил Энгельгардта. Суетня.

«Поздравьте», встречает меня «комендант». «Сейчас звонил из Петропавловской капитан Мышлаевский, временно принявший командование, за отказом коменданта. Крепость капитулирует на условии неприкосновенности офицерского состава».

И надо же Мышлаевскому позвонить в наше отсутствие!

Немедля выезжают принимать крепость — один из наших артиллеристов (помнится, Дюбуа) — и назначенный временным комендантом прапорщик.

В напутствие прапорщику:

— Не забудьте о Трубецком бастионе.

— А что там — склад?

— Вы, вообще, слыхали, что в царское время бывали «политические»?

Вскоре после телефона Мышлаевского к нам привели под эскортом морского офицера в полной парадной форме: командир одного из флотских экипажей, если память не изменяет, — 18-го; прибыл от имени офицеров экипажей, расположенных в Крюковских казармах, осведомиться о происходящем, «выяснить цели и намерения переворота, каковыми определится» — по его словам — «отношение господ офицеров флота к текущим событиям».

Он обращается, естественно, к Энгельгардту.

Тот в кратких, но — надо признать — чрезвычайно уклончивых выражениях (наше присутствие, видимо, стесняет его) знакомит капитана с положением дел, особо упирая на Родзянковскую формулу «водворения порядка».

— «Но... политические задания»?

— «Петербургские события ничего в этом смысле не предрешают. Никаких политических лозунгов Временный Комитет не выдвигает, как видно из опубликованного им воззвания».

— «Да, конечно, воззвание не говорит ни да, ни нет. За то Советское воззвание уже откровеннее. А на углах и в казармах, среди матросни, говорят и вовсе откровенно».

Энгельгардт нервно пожимает плечами: «не может же Временный Комитет отвечать за то, что болтают хулиганы на улице. О подлинных намерениях Комитета он уже сообщил, заявления же Государственной Думы, на его личный взгляд, совершенно недвусмысленны».

«Допустим даже, что так. Но господа офицеры, от имени которых я имею честь говорить, желали бы иметь формальные гарантии тому, что

события не направлены против монархии. Только на этом условии может стать вопрос об их присоединении...»

В мере того, как говорит капитан, лицо Энгельгардта багровеет (неимоверная у него, вообще, способность краснеть). При последних словах наши встают, но Энгельгардт предупреждает события: опустив голову, бегая глазами, он перекладывает трясущейся рукой бумаги на столе.

«Ваше заявление заставляет меня задержать Вас, капитан, до выяснения действительных Ваших полномочий».

— «Но, полковник»... выпячивает было кресты на груди арестованный...

Мы киваем солдатам у двери: «проводите-ка господина — в жандармскую».

Энгельгардт морщится. Взглядывает на часы И — исчезает снова.

Появление «коменданта» было правильным признаком. Хабалов капитулировал. Его привезли вместе с градоначальником Балком и целым кордебалетом полицейских чинов.

«Думские сведения» подтвердились полностью: даже о «воздействии» угадали Думцы: Михаил Николаевич попросту заставил Хабалова со штабом выбраться из Зимнего незамедлительно, «дабы не подводить дворец под штурм». А так как из Адмиралтейства Морское Ведомство попросило «защитников престола» выселиться, по тем же основаниям, еще до перехода их в Зимний — выброшенному, таким образом, на улицу генералитету ничего не осталось,

как... «не подводить и себя под штурм»: так они и сделали.

Пришли и солдаты Хабаловского отряда: все без оружия.

— «А где же винтовки?»

— «Как приказали нам иттить в казармы по случаю окончания самодержавия и войны, то ружья и, стало быть, патроны велено сдать морским под расписку. А то, генерал сказал, все равно по дороге вольные отберут».

•

Город — наш.

Теперь только с фронта, от Двинска и Пскова, можно ожидать удара. Хотя... едва-ли вообще стратегия не уступила окончательно место политике. Правда, на улице еще стучат выстрелы: остались рассеянные по всему городу Протопоповские полицейские пулеметчики: эти — сдаться не могут, потому что между ними и восставшими залегла кровь и пощады они не ждут. Да и помимо того, оторванные — на чердаках и крышах, по которым переволакивают они свои пулеметы, — от всякого сообщения с «начальством», они не имеют представления даже о том, на чьей стороне победа, и поскольку имеет смысл продолжение борьбы. Так или иначе — городовые продолжают свое дело: то здесь, то там, перекидываясь с улицы на улицу, напоминают они о себе — сухим треском бешеного, но безвредного пулеметного огня по демонстрирующим на улицах толпам — безвредного. т. к. для обстрела они выбирают, по преимуществу, чердаки огромных многоэтажных домов, — с которых их труднее «снять»... но с которых попасть в кого-

нибудь — невозможно. «Замкнуть» и потушить эти пулеметные «очаги» при их чрезвычайной подвижности — трудно: упорна и тяжела за ними погоня. Но все же это — уже не бой, а лишь агония полицейщины.

Единственный остававшийся еще серьезный противник — самокатчики на Выборгском шоссе — сдались к утру, по первым выстрелам высланных против них двух броневых машин...

. .

Город — наш: но он попрежнему взбаламученное море. В хаосе толп, теснящихся по улицам, под звуки не стихающей шальной пальбы, попрежнему теряются высылаемые нами пикеты и патрули. И напряженность — у нас в штабе, — не ослабела, но наросла. Ибо сейчас — на переломе настроений «первого дня» легче ожидать эксцессов: уже разбили кое-где на окраинах винные погреба. Между тем, опасность не миновала еще, переворот еще не закреплен. Из принесенных нам матросами перехваченных на их станции телеграмм видно, что «Ставка» как будто предполагает бороться: снаряжается «карательная экспедиция», первые эшелоны которой с генералом Ивановым — «Иудычем», хорошо известным «усмирителем Кронштадта» 1906 года — во главе, уже тронулись в путь. Надо готовиться к встрече — а как готовиться в этом первозданном хаосе?...

Сложность положения усугубляется еще и тем, что между «карателем» Ивановым и «Временным Комитетом» (в частности, «комендантом Петрограда» Энгельгардтом) оказывается непосредственная, — можно сказать, официальная связь:

из случайного разговора с офицером Ген. Штаба, встреченным в коридоре Таврического, я узнаю, что навстречу отряду Иванова выслан «офицер для связи», Генер. Штаба подполковник Тилли, а сверх того, по вызову того же карательного генерала, собирается выехать на должность начальника его штаба командируемый отсюда же, тем же Временным Комитетом, полковник Доманевский. Доманевского я знал еще до Академии офицером 1-й гвард. арт. бригады: человек не только черного, но и активно-черного образа мыслей. Показателен, таким образом, и выбор лица, и самый факт посылки «от восставшего города» — по вызову начальника усмирительной экспедиции — «знакомого с положением дел в городе надежного офицера, для занятия должности начальника штаба отряда», — так формулировал Иудыч свое требование. Явственно: здешние «восстановители порядка» отнюдь не противопоставляют себя «восстановителям», прибывающим с фронта. И поскольку так, надо быть вдвойне на чеку...

Сносимся с железнодорожниками: обещаются не пропускать эшелонов, если обнаружатся какие-либо «карательные намерения»; созваниваемся с царскоселами: гарнизон будет наготове; если будет сделана попытка что-либо предпринять против Петербурга – заступит дорогу оружием... Говорят горячо, душевно: кажется, положиться можно. Здесь, в самом Петербурге больших сил не собрать. Хотя полки понемногу и возвращаются в казармы— распыленность прежняя, дезорганизация продолжается... Кое-как усиливаем, однако, охрану вокзалов и формируем ударный отряд в составе трех

баталионов пехоты и дивизиона тяжелой артиллерии — в качестве стратегического резерва...

Ночь проходит без сна, как и вчерашняя, в той же напряженной атмосфере — попрежнему тщетных, в существе, попыток ввести хоть несколько в русло разбушевавшийся, размятеженный город. «Тушим» пулеметные гнезда, гоняясь за ними по городу, усиленно охраняем винные склады, ждем Иудыча.

Утром подошел 180-й пех. полк в полном составе, походным порядком, с офицерами, знаменами, пулеметами, обозами: сразу стало легче дышать, — мы получали подлинную, спаянную и сильную боевую единицу — на случай «фронтовых осложнений».

С железных дорог сообщалось: кроме Тарутинского полка, доехавшего до Александровской и там побратавшегося с нашими, и Георгиевского баталиона, с «самим» Ивановым, держащего путь на Царскосельскую нашу заставу, других эшелонов в пути нет.

Можно было сходить на час - другой домой: вымыться, поесть, снять обувь... Ведь мы были на ногах уже свыше пятидесяти часов...

Около пяти часов дня я вернулся в Таврический, в 41-ю комнату, и... и не узнал ее.

Чинно, в высочайше-утвержденном порядке, стояли квадратиками неведомо откуда взявшиеся канцелярские столы. Несколько франтоватых писарей и две-три кокетливых, как полагается переписчицам, девицы с коками набекрень и затыканными гребеночками затылками, — уже стучали на

машинках. Поблескивая погонами и аксельбантами, раскладывали на столах обертки «дел» новые, чужие, не виданные за эти ночи во дворце, на пробор расчесанные, гладенькие, бритые люди. И, раздувая фалдочки округленными движениями упитанных бедр, в обтяжных рейтузах и лакированных сапогах, — уверенно и весело, как у себя дома, порхали от машинок к начальственным столам ад'ютанты.

Энгельгардт сидел за «моим» столом, окруженный целой плеядой офицеров Ген. Штаба — того же гвардейского корня, что и он сам: князь Туманов, Самсон фон Гиммельштерна, грузный «георгиевец» Якубович, Романовский (помнится...) и другие... Разговор шел о фактическом восстановлении штаба Петроградского Военного Округа, — впредь до того, как выяснится судьба «настоящего» штаба, — 27-го февраля забившегося в щели и все еще не решавшегося показаться на свет Божий. Временный штаб этот постановлено именовать «Военной Комиссией при Временном Комитете Госуд. Думы». По штабному шаблону уже разверстаны были отделы, шло распределение должностей...

Что-то тягучее, липкое, жуткое потянулось к сердцу. Я вышел в коридор. У стенки, в раздумьи, стоял один из товарищей, с первых часов бывший в штабе восстания: он ведал у нас автомобильной частью.

— «Вы что тут делаете?»

— «А что мне делать? Уволен в чистую». Он бледно и зло улыбнулся.

— «Уволены?»

— «Очень даже просто. Дернуло меня домой сбегать днем: всего на час. Вернулся, застал уже всю эту компанию (он мотнул головой в сторону 41) в сборе. И за моим столом сидит, вижу, какой-то тип подфабренный, подверченный, кургузый... чорт его знает...»

— «Фалдочки, словом», — смеюсь я.

— «Именно, что фалдочки. Смотрю — перед ним и книга моя нарядов, и все вообще дела. Я ему: «разрешите-ка присесть». А он «по какому, собственно, поводу»? И еще щурится, будь он неладен... «А по такому, отвечаю, что это ведь автомобильный отдел?» «Автомобильный». «Ну, а автомобильным отделом ведаю я, вот и папки мои..» «Ах, говорит, так это ваши папки. Очень, очень хорошо. Позвольте выразить вам искреннюю признательность «Военной Комиссии». И руку, руку сует, анафема. А потом — уже другим тоном: «в дальнейших услугах ваших мы уже не нуждаемся».

— «Так и сказал?»

— «Не иначе» — глубже засовывает товарищ руки в карманы изодранной кожаной куртки.

— «А где остальные наши?»

— «Аллах их ведает. Филипповский и еще двое-трое — в Совете, с десяток у них, при машинках приспособились, козыряют. Остальных, надо думать, разогнали... Не ко двору.»

— «Верно, что не ко двору. Идите, товарищ, в Исполком. А там и я подойду — удостоверюсь только, что они с Иудычем наколдуют».

В 41-й спросил Энгельгардта: передовой эшелон карательного отряда Иванова стоит уже у Вырицы. «Вы не откажетесь отбыть и сегодня еще ночное дежурство: здесь, видите, все внове...»

Не отказываюсь.

Ночное дежурство перенесено было наверх, в новое помещение «Военной Комиссии», видимо, желавшей даже территориально отмежеваться от всякой преемственности с «мятежным штабом»: комнаты 41 и 42, даже оканцеляренные, слишком напоминали о февральских ночах.

Работы мне на этот раз уже не было. Мои обязанности принял за время дневной моей отлучки инженер Пальчинский, — «товарищ председателя Военной Комиссии Александра Ивановича» (Гучкова), как отрекомендовался он мне. В отличие от «автомобилиста», о котором рассказывал товарищ, он был приторно любезен и сладок и всячески старался показать вид, что я нимало не «отстранен». Напротив. На деле, однако, к нарядам войск он меня уже не подпускал.

Дежуривший вместе со мной полковник Генерального Штаба, знакомый, как и все «энгельгардтовцы», по Академии, ввел меня окончательно в курс дел на «Иудином фронте»: «Его Величество — в Пскове, ожидается наверное отречение: за ним выезжает специальная Думская Комиссия: Гучков, Шульгин, кажется, еще кто-то, «тоже из авторитетных». Карательная экспедиция задумана была Ставкой первоначально в грандиозных размерах: на один первый удар назначено было 13 баталионов, 16 эскадронов и 4 батареи. Но сдвинулись с места из них только Тарутинский полк, перешедший на

сторону петербуржцев, да георгиевский баталион Иванова, запутавшийся на подступах к Петербургу. О каком либо покушении на Петербург при таких условиях говорить не приходится, и сам Иванов думает уже не о том, чтобы «карать мятежников», а лишь о воссоединении с царем, на предмет получения дальнейших инструкций. Но и против этого приняты меры: Иудычу предложено оставаться, где он есть, — в Вырице; ведь Бог его знает, еще нашепчет чего-нибудь царю... На случай же, если Иванов не послушается и попробует переброситься с георгиевцами на Варшавскую по соединительной ветке, железнодорожники обещали загнать его поезд в первый же тупик. Да там, около ветки, и ваш «стратегический» резерв, так ведь?

— Стало-быть?

— Стало-быть, мы, в сущности, маринуемся здесь ночью напрасно. Достаточно было бы простого дежурного офицера.

В соседней комнате движение: приехал Гучков. С ним Половцев, как всегда, подтянутый и спокойный, в черкеске с иголочки, и еще один генштабист.

Ехали во дворец вчетвером, но четвертый, князь Вяземский, убит на Дворцовой площади шальной пулей часового, на окрик которого шоффер не остановил автомобиля.

Гучков «очень, очень доволен: все идет прекрасно, порядок быстро восстанавливается, большинство частей опять уже в руках офицеров». Тон всех, и приехавших с Гучковым, и здешних, «дежурящих», — одинаково оптимистический и самоуверенный... Без стеснения (при мне ведь здесь не

стесняются) замыкают они «товарищей» в презрительно-насмешливые кавычки. Привычный, всегдашний, жаргон полковых собраний и гвардейских штабов...

Сидим с Половцевым на подоконнике, разговаривая о пустом. Уже утро забрезжило. Холодным светом прояснели за окном очертания построек и зыбкие купола деревьев Таврического парка.

Пальчинский тихо, понизив голос, беседует с Гучковым. Оборачивается, подзывает меня...

— «Вот и Александр Иванович совершенно такого же мнения».

И снова приторные, неискренние слова о «таких, как...» и т. д.

А «Александр Иванович», простодушно глядя на меня светлыми, безмысленными глазами, одобрительно качает головой в такт журчанию Пальчинской речи. И спрашивает коротко и просто:

«Какое место хотели бы Вы занять по военному ведомству?»

Мне не пришлось задумываться над ответом.

Гучков, круто повернувшись, отошел к окну и заговорил с Половцевым. Пальчинский постоял еще, натянутой, мигающей улыбкой стараясь смягчить резкую паузу.

Тихими, сонными коридорами, мимо полуциркульного зала, в котором поблескивают штыки юнкерского караула (Родзянко сменил уже ненадежные «солдатские» караулы юнкерскими: военные училища зарекомендовали себя в февральские

дни нейтралитетом); мимо дремлющих в пустом вестибюле сторожей, мимо примолкшей «угловой», где вчера еще шелестели под проворными девичьими пальцами холщевые пулеметные ленты, я выхожу на свежий, чуть-чуть уже весной, сквозь зимнюю предрассветную изморозь, просвечивающий воздух. На Таврической — глухо и пусто. Но издалека, с Кирочной, доносятся странные, скрипящие, стонущие, многоголосые звуки. И когда я — на половине Таврического сада (виден уже Кончанский купол на академическом нашем плацу) — из-за угла, медлительный, тяжелый, многорядный вливается на Таврическую серый людской поток. И громче становятся стонущие, лязгающие звуки... Невольно ложится рука на револьверный кобур.

Головные поравнялись со мной. Сотнями скрежущих колес, царапая заледенелый снег, подходил к Таврическому пулеметный полк. Из Ораниенбаума, на присоединение. Мы вчера еще знали, что он выступил.

Я долго стоял, пропуская мимо себя молчаливые, пригнутые далеким переходом, утомленные шеренги, и старательно укутанные войлоком — приземистыми, диковинными зверями какими-то казавшиеся — пулеметы: и от скрежета этого и холодной медью поблескивающих лент, крест-на-крест обматывавших серые, накрахмаленные морозом, взгорбившиеся нагрудники зябких шинелей, от молчаливой, чистой думы, которой веяло от этих сотен, — единым телом и единым духом – так явственно чувствовалось это! — ставших подлинных людей—

4

хорошо и радостно становилось на душе. Светло, ясно — истинно по-весеннему.

И, отряхая нагар недавних впечатлений, хотелось крикнуть вновь, полным голосом, в такт и лад лавиной катящимся пулеметам:

«Да здравствует Революция»!

ДЕНЬ ВТОРОЙ.

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

(3 марта).

С утра 3 марта у под'езда Таврического дворца крутыми полукругами, по вырезу фасада заполняя двор, теснились демонстрации. Багряные знамена, так легко, так естественно сменившие иконописные полотнища былых полковых плащаниц, — бело-красные полосы любовно-наивно, подчас, разрисованных плакатов... Красные флажки на пиках Донского полка... Надрывая грудь, без шапок, кричали с каменных, снегом и грязью затоптанных ступеней ораторы: Скобелев сменял Родзянку, Чхеидзе уступал место Гучкову...

В коридорах уже носились «достоверные», «прямо от Шульгина», слухи о состоявшемся отречении: император отказался от всякой борьбы за престол, как только выяснилось отношение «фронта» к перевороту. Иные сомневались: для меня, как и для всех, имевших за прошлые годы возможность несколько ближе ознакомиться с личностью «благополучно царствовавшего», факт этот представлялся не только возможным, но, пожалуй, даже психологически неизбежным: он полностью в характере Николая, с присущей ему, в корне — «наплевательной» точкой зрения на все вообще и Российскую

Империю в частности: было бы странно, если бы этот миропомазанный нигилист уцепился за скипетр, всю жизнь бывший для него — стеком.

В прямое подтверждение слухам, во внутренних апартаментах дворца слаживалось уже Временное Правительство: об этом в комнатах «Военной Комиссии», в которую я прежде всего зашел, говорили благоговейно, вполголоса, приподымаясь на цыпочки, как о священнодействии...

И в радостных ужимках новых членов обновленного — едва ли не до последнего человека — «революционного штаба», в елейной почтительности, с которой произносились полковниками и регистраторами будущие «министерские» имена, снова вставали переживания только-что отошедших, закатных для февральского восстания часов... Снова стало нестерпимо. Чувствовалось, что там, на низу, в раззолоченном кабинете «председателя Государственной Думы» идет торг о власти, торг, оскорбительный для крови, на которой поднялся переворот. Я сошел вниз поискать товарищей.

— «Временное Правительство»? Да, да: коалиционное: от Исполкома входят Керенский и Чхеидзе: Чхеидзе — министром труда, Керенский — юстиции.

— Неужели вправду?

Останавливаю первого попавшегося навстречу, лишь по лицу знакомого мне члена Исполнительного Комитета. — Верно ли, что болтают о коалиции?

После трех суток без сна, быть может, излишне нервно, быть может, угрожающе звучит голос? Член Исполкома успокоительно и торопливо кладет руку на плечо:

— Кто это вам сказал? Вранье! Это все буржуйчики распускают. Был, правда, между прочим, разговор и об этом и даже довольно настойчивый: Думцы обязательно хотели, чтобы в новый кабинет вошли популярные в рабочей и солдатской среде имена, главным образом, упирали на Керенского; Чхеидзе, знаете, хотя и не еврей, но все же с их точки зрения инородец: так о нем они — не очень... Но Исполком отказал наотрез: при выработке правительственной программы не удалось достичь соглашения по двум, очень основным, пунктам: во-первых, по вопросу о немедленном провозглашении демократической республики, господа эти спрятались за «будущее учредительное собрание»; во-вторых, не столковались и по вопросу о внутреннем распорядке в армии. Да и вообще Исполком считает, что, уступая сейчас по ряду соображений, о которых вы знаете, правительственную власть Родзянке, Львову и компании, нам надлежит сохранить полную свободу дальнейших революционных действий...

Я вспомнил про штаб, но смолчал:

— Значит, ни Керенский, ни Чхеидзе?

— Ни Чхеидзе, ни Керенский. Формально, я вам говорю, постановили.

•

А несколько минут спустя, пересекая Екатерининский зал, я слышал, как Милюков (поспешивший по политической сноровистости своей забежать «петушком» вперед и поздравить демократию с праздником раньше, чем начался благовест), переминаясь на трибуне, смирял вызванный излишне откровенной монархичностью его формулировок ро-

пот категорическим упоминанием о том, что ближайшим коллегою его по кабинету будет Александр Федорович Керенский...

. .

Кто же здесь кого обманывает?..

. . .

Обманывали и те, и другие. Верховники обоих Советов – Совета Министров и Совета Рабочих – равно лгали, когда говорили «своим» о непримиримости, когда делали вид, что переговорами и маневрами вынуждают противника к каким-то, будто бы, даже смертельным для него, по существу, уступкам. На деле они не только не старались потопить друг друга, но судорожно цеплялись за соглашение: оно было естественно и неизбежно, ибо при всем различии «имен, наречий, состояний» и так называемых политических убеждений, люди Временного Комитета и люди Исполкома в подавляющем его большинстве были уже — от первого часа революции — об'единены одним, общим, всѐ остальное предрешавшим признаком: страхом перед массой.

Как они боялись ее! Глядя на наших «социалистов», когда в эти дни они выступали перед толпами, заливавшими залы Таврического дворца багрецом знамен, перевязей, кокард, я чувствовал до боли, до гадливости их внутреннюю дрожь; чувствовал, какого напряжения стоит им не опустить глаза перед этими, так доверчиво раскрыв, — настежь раскрыв, — душу теснившимися к ним рабочими и солдатами; перед их ясным, верящим, ждущим, «детским» взглядом. И вправду: ставка была страшна. Они были стихийны, эти «дети»; дробь их барабанов, отпугивавшая от оконных стекол любопыт-

ствующих мещан, меньше всего говорила о «детской». Мировая война, отбытая в кошмарных условиях царской действительности, до крайней остроты, до высшего проявления довела те черты, при изображении которых, в незапамятные еще времена, дрожали изощренные перья византийских летописцев в сказаньях о набегах руссов... Достаточно было посмотреть, как носили они свои винтовки... Затворы тряслись от напряженности заложенных в стволы патронов...

Легко было — позавчера еще — числиться «представителями и вождями» этих рабочих масс; без малейшей спазмы в горле говорил мирнейший из них, из парламентских социалистов, страшнейшие слова «от имени пролетариата»... Но когда он, этот теоретический пролетарий, стал здесь, рядом, во весь рост, во всей силе своей изможденной плоти и бунтующей крови... Когда ощутима стала даже наиболее нечувствительным эта стихийная, воистину стихийная сила, способная вознести, но и способная раздавить одним порывом, одним взмахом, — невольно слова успокоения, вместо вчерашних боевых призывов, стали бормотать побледневшие губы «вождей». Им стало страшно... И не без оснований. Ведь совершенно недвусмысленно было отношение восставших рабочих и солдатских масс к «князьям», помещикам и фабрикантам. Одно упоминание о возможности назначения Львова председателем нового кабинета всколыхнуло в солдатской секции Совета наших полковых депутатов: «Это что же, сменить царя да на князя, только и всего. Стоило штыки примыкать». Иные смеялись: «Прогадали,

братцы. Царь — оно все-таки как бы для народа почетнее; или опять же: «Император». Одно слово чего стоит. Скажешь, как на трубе сыграешь. А князь... прямо сказать: безо всякого об'ему». А товарищ Савватий, лейб-гренадер, сверх-срочный, трижды георгиевский кавалер, один из немногих «нашивочных», почтенных избранием в депутаты, при общем сочувствии резюмировал кратко эти кулуарные разговоры: «Посадят — фукнем».

При наличии таких настроений, о которых, конечно, прекрасно был осведомлен Исполнительный Комитет, руководители его — с уверенностью можно сказать — никогда бы не пошли на соглашение, если бы верили, что смогут удержать в руках эту «массу», вождями которой они так неожиданно оказались. Но в возможность удержать ее они не верили: для этого надо было прежде всего суметь «удержать» государство, а «государства» — думские социалисты наши боялись, пожалуй, не меньше, чем рабочих и солдат. Они не знали не только «будущего», но и прошлого «государства», которое пришлось бы им «поднять на рамена» в случае разрыва с буржуазной частью думского кабинета.

В этих условиях они, естественно, не могли решиться «взять власть». А поскольку так, они должны были пойти на все, какие угодно — в пределах терпимости масс — уступки кадетам, октябристам и иным, в которых они видели мастеров государственного дела, механиков, владеющих тайной непосильного для них аппарата.

Буржуазия Думы — обратно: она не боялась государства, напротив того, она тянулась к власти над ним всеми извивами своих щупальцев; она знала

его и для «управления», конечно же, меньше всего чувствовала потребность в помощи социалистов. И она, в свою очередь, никогда не пошла бы на соглашение «с этой публикой» (как брезгливо поводил плечом, говоря о Чхеидзе и Скобелеве, «маститый» Родзянко), если бы... не боязнь перед той же рабочей и солдатской массой, перед той же раскованной стихией. Настроение ее Милюков и прочие знали не хуже, чем Исполнительный Комитет, и, в сложившейся обстановке, лидеры социалистов, естественно, казались им единственным под руками спасительным громоотводом. Так или иначе, но для обеих сторон было ясно, что друг без друга им «не жить», что не только твердой, но и вообще никакой своей опоры нет ни у тех, ни у других. А, сталобыть, чтобы удержаться на ногах, им не оставалось ничего иного, как опереться друг на друга: они так и сделали...

Но поскольку сознаться в этом страхе — тем более, конечно, массам,—было равно невозможно для тех и других — те и другие лгали и своим, и чужим: чужим — уверяя в любви, своим — уверяя в ненависти, и стараясь дружеское об'ятие свое «с противником» представить глазам зрителей жестокой, не на жизнь, а на смерть схваткой. Не все лгали сознательно? Возможно: страх, как известно, туманит сознание...

Но это было беспощадно ясно — со стороны.

Под вечер, проходя нижним, правым коридором дворца, я встретил Керенского. Мы обменялись несколькими незначительными фразами, и я протянул уже руку для прощания, когда Керенский,

словно вдруг, внезапно решившись, оттянул меня в сторону, к самой стене, — и сказал вполголоса, быстро:

«Мне предлагают войти в кабинет, который формирует Львов — министром юстиции. Больше социалистов в кабинете нет. Как по вашему: идти или не идти?»

Я пожал плечами: «Разве при таких решениях можно советовать... и советоваться?».

Керенский дернулся всем телом и выпрямился: «Значит — и Вы не знаете?» резко, ударяя на «вы», проговорил он сквозь зубы и, стукнув дверью, вошел в кабинет «Временного Правительства»...

Получасом позднее мы встретились снова — уже на заседании Совета, на котором Исполнительный Комитет должен был сообщить о своем решении «передать власть» кабинету Львова, не вводя в этот кабинет ни одного представителя Совета: Керенскому, на его запрос, Исполком, действительно, ответил категорическим отказом.

По существу, задача Исполкома, казалась, как будто, нелегкой. Ибо, в условиях, в которых произошел переворот—при полном неучастии в нем, хотя бы каких-нибудь групп буржуазии — убедить представителей революционных масс в необходимости передать власть именно ему, этому, не сопричастившемуся крови народного восстания, мещанству — казалось, на первый взгляд, психологически невозможным. «Взвести к рулю — с пистолетом у виска — классовых своих противников: пусть ведут корабль, куда им прикажут рабочие и солдаты, которые сами не умеют еще управить курс

государственного корабля». Как заставить поверить в правильность — в честность — в исполнимость — такой формулировки?

И все же это удалось руководителям Исполкома. Они мобилизовали все силы, — и, подлинно, затопили Совет горячими, страстными, безоглядно-революционно звучавшими — на этот раз — речами. Чувство огромного риска (ведь, воистину, для них решалось — «быть или не быть») придавало особую силу, особую «жизнь» их словам, особую искренность, особый пафос их убеждениям и призывам. Пусть страх рождал в них эту яркость, что нужды! Пафос захватывал. Он заворожил, в истинном смысле слова, не привыкший еще, податливый свободному слову, наивный, неиспытанный слух.

Ответным трепетом, неудержимо, страстно откликался переполненный людьми, душный, но так вольно, так радостно, так буйно дышавший зал. И, понемногу, утомленные непривычным душевным напряжением этой «литургии Свободы», — которую на собственной крови служили мы, всем городом, вот уже четвертую ночь — смягчали свою суровость настороженные, зоркие глаза — они становились ласковее. Уже подступали — не у одного Савватия — к горлу радостные, светлые слезы. Духом примирения, пасхальным духом повеяло над залом...

В этот момент выступил Керенский.

Его особенность, как оратора, искони была в исключительной восприимчивости настроения аудитории, перед которой он говорил; не он владел слушателями, но слушатели владели им. Он был, поэтому, бессилен перед враждебной толпой, он не

в силах был бы переломить силою слова, силою воли собственной — своей силой — настроение и мысли массы; он был, неизменно, бледен — перед аудиторией безразличной; но он был страстен и блестящ, когда его подхватывала волна уже готового, ждавшего его воодушевления, когда он шел по гребням перекатов, уже взмывшей под небо, волны. И в тот вечер он не мог не говорить — легко, свободно и сильно, раскрыв душу, как раскрыли ее в увлажненных глазах своих теснившиеся перед ним солдатские и рабочие депутаты...

И потому с особой, непривычной силой звучала его порывистая, захлебывавшаяся по временам, защитительная речь.

Стонами врывались в нее, рассекая размеренность бешено рвавшихся слов, отклики неизжитых колебаний. Колебаний мучительных, — ибо в этот момент — под гипнозом общего высокого настроения — он был искренен, он заглядывал, быть может, в такие тайники своей совести, которые были закрыты для него накануне и которые на завтра захлопнулись первым движением его министерской печати, — наглухо, надолго... навсегда?

От первой, резкой постановки вопроса о доверии — и почти до конца, когда он почувствовал уже успех, и слова его стали шататься, словно в изнеможении — речь эта была страстным воплем о нравственной поддержке, об оправдании сделанного им шага. И только на последних фразах он оступился резким, непоправимым срывом: «В моих руках, как министра юстиции, находились представители старой власти, и я не решился выпустить их из рук... Первым моим шагом было — освобо-

дить депутатов социал-демократической фракции»... Воистину, безгранично велика должна была быть «пасхальность» настроения слушавших его, готовность их на всепрощение, — если они простили эту постыдную, тюремную «расчетливую» фразу, — перекрывшую для меня — в один удар пульса — всю его страстную исповедь.

Но они снесли. Они простили. Гулом аплодисментов был покрыт его заключительный вскрик. Тем самым — он счел себя оправданным. Но тем самым — получал признание и самый кабинет. Исполком поспешил повернуть руль к голосованию. Чхеидзе уже улыбался глазами, как всегда благодушному, словно полусонному Скобелеву: ставка была выиграна.

И, действительно, лишь ничтожная, численно, кучка высказалась за непримиримость, за отказ от всякого соглашения с буржуазией; и — так безжизненно, так «книжно», швыряясь мудреными, камнем ложившимися на возбужденный слух, словами — говорили эти немногие противники соглашения, что результаты голосования были предрешены. Наиболее чуткие — воздержались от выступления: ибо — уместно ли исповедывать неверие свое — в заутреню: не убедить, а лишь потемнить, без пользы, человеческую радость. Для многих, быть может, первую...

Подавляющим большинством принята была доложенная Исполкомом «новая правительственная программа» — итог его соглашения с Думцами. И недоверие, забаюканное заседанием этим, — нашло себе выражение лишь в двух пунктах, внесенных в соглашательский проект поправок: в первом —

заключалось требование, чтобы Временное Правительство оговорило, что все намеченные его программой мероприятия будут осуществлены немедленно, несмотря на военное положение; другой же пункт определял создание наблюдательного, за действиями Правительства, комитета из состава Исполкома Совета Рабочих и Солдатских Депутатов... «Пистолет к виску»... Керенский мог бы в постановлении этом усмотреть вотум недоверия к себе: разве не значило это, что его присутствие в кабинете признавалось недостаточной гарантией? Но он — не обиделся. Да его уже и не было в зале...

Создавшееся на заседании Совета настроение не рассеялось и тогда, когда депутаты, окончательно утвердив резолюцию, толпою влились в заполнившую Екатерининский зал ожидавшую массу. В этот вечер Таврический был переполнен в той же мере, как и в первый день восстания. Тем резче бросалось в глаза огромное различие настроений «тогда» и «теперь». И сказать ли? — до боли жалко было тогдашней, жуткой настороженности переходов и зал, и напуганных глаз по стенкам пробиравшихся «политиков», и бодрой, жизнью и смертью осиянной, постати перекатывавшихся по коридорам вооруженных толп. Правда: «тогда» — заревом пожаров, взблеском выстрелов светла была ночь; сегодня она была светла — праздником. Но не отогнать было мысли о том, что не свободе радуются эти, жмущиеся друг к другу, тесными, переплетшимися рядами люди, — а тому, что отлетела, наконец, нависшая над городом тяжесть неизвестности, сброса с устоев, — что снова «становится»,

решениями сегодняшними, на привычные, твердые места жизнь. Не даром, высясь над толпой, вспячивая груди, играли над нашими головами фейерверком фраз — те самые, вчера еще вдоль стенок пробиравшиеся, «герои». «Свобода, свобода,свобода». Как церковный акафист, как пасхальный ирмос — бесконечными перепевами звучало под куполом дворца это вчера еще дорогое, недостижимое, сегодня — уже общедоступное, смятое, захватанным ставшее — слово.

И еще — сознаться ли: глядя в эти счастливые, со всех сторон улыбавшиеся, светлые глаза, мучительно завидно было этим людям — так искренно верившим, что «кончилось», что революция совершена, что вот — догремят еще стучащие по закоулкам, заблудшие, одинокие выстрелы — и снова ровным, по новому широким, по новому мощным потоком польется жизнь, и будем мы кошницами полными собирать плоды февральского подвига... Но ведь, — не отогнать было сознания, что это не так, что впереди — еще далекий, тернистый путь, сквозь лесные и дикие пустыри, сквозь тенета противоречий, которых не разрубить так просто, с одного взмаха, как разрублен был первый узел — восстанием 27-го февраля.

Прикрыв глаза, я слушаю, как взлаивает с амвона залы, восторженный и лохматый, очередной оратор, и сквозь грохот слов — все о ней же, о ней, о свободе! — слышатся мне ровные, тихие, четкие, твердые слова жены — только что, два часа назад сказанные... «Кончено? Нет. Слишком мало было крови».

Если бы мы могли верить, как верят они...

Но мы не верим: мы знаем...! И мучителен до боли, повторяю, этот разлад с разлитым вокруг ликованием...

А на «амвоне» — на площадке в глубине Екатерининского зала, у входа в зал заседаний Государственной Думы — сменяются и сменяются ораторы. И всем им хлопает, хлопает, хлопает толпа. Всем: даже Милюкову...

Вот на кого нельзя было взглянуть без улыбки: так неприлично-счастлив, так «именинен» был он, так откровенно чувствовал себя «вверху горы». И то сказать — нелегко дался старику этот — долгожданный, желанный портфель.

Сколько раз приходилось сталкиваться с ним — ныне «достигшим», за эти долгие годы — на «министерском» его пути: от мезонина на Нижегородской улице, где осенью 1905 года, он, представитель «Союза Освобождения», пытал меня — товарища председателя Всероссийского Офицерского Союза и члена военной организации с.-р., — насчет вооруженного восстания; через «первый с'езд земцев и горожан», которому суфлировал он из того же притвора, в котором укрывался и я, — «нелегальный» очевидец — по бумагам, корреспондент „Humanité“; через депутатство Государственной Думы, сразу же придавшее ему округлость стана и жеста, и особую вескость слова; через «негласное» управление министерством иностранных дел... — И, наконец, — вот она, верхняя ступень, зенит желаний — перевал двадцатилетнего пути

Перевал. Ибо предрешена судьба таких — революцией взброшенных на посты министров.

•

Когда заговорил характерным кавказским говорком своим Чхеидзе — насторожилась на мгновение зала: насторожился и я. Ибо, в речи своей он, психологически, *должен* был проговориться, хотя бы намеком, о цене, которой куплено было соглашение с Думцами. Он начал, как и большинство до него говоривших, с призыва «к единению всех революционных сил», и долго не отходил от этой темы. Казалось, одно время, что он так и кончит, не начавши «существенного». Но к последним словам он весь подобрался, сморщил лоб — тем особенным «жестом» бровями, которым умеют пугать только грузины, — и резко и горячо заговорил о «провокационных листках, будто бы от имени социал-демократической организации, разбрасываемых по казармам и восстанавливающих солдат против офицеров...» Я засмеялся в усы: «Так оно и есть. Ну, конечно же: «армия».

После Чхеидзе снова говорили: милый, радостный Капелинский, секретарь Исполкома, и еще, и еще кто-то, и даже Ст. Иванович, меньшевик из «Дня», сушеный публицист...

«Еда и Саул во пророцех...»

•

Последним, «под занавес», говорил Керенский.

Он не вышел на ту, центральную, посереди залы, площадку, которая служила трибуной остальным ораторам: он стал на левом крыле хор; весь в черном, до верху застегнутый, прямой, как свеча, торжественный и бледный. В этом бескровном

и властном призраке трудно было признать того самого, отчаянно, надрывно переминавшегося «на грани» человека, с которым говорил я там, в коридоре, — три-четыре часа назад, которого мы слышали только-что в Совете. Невидящим, н а д толпою куда-то вдаль смотревшим взглядом напряжены были странно опустелые, тусклые глаза. И как-то по новому, тягуче звучал пытавшийся «чеканить» слова — хрипловатый голос. И весь он, от головы до ног, казался нарочитым, — словно подмененным.

Мелькнула в усталой голове недобрая мысль, но я тотчас отогнал ее: она показалась тогда слишком зазорной.

«Я, гражданин Керенский, министр юстиции»... отчетливо скандирует слог за слогом незнакомым ставший знакомый голос. И бурными криками, и хлопаньем, от края до края, вздрагивает зал.

«Об'являю во всеуслышание, что новое Временное Правительство вступило в исполнение своих обязанностей, по соглашению с Советом Рабочих и Солдатских Депутатов».

Он опускает бескровную руку за шелковый лацкан сюртука, вынимает красный, кровяным пятном заалевший, платок, и взмахивает им по воздуху, овевая лицо.

И, как на сигнал, новой бурей аплодисментов отозвалась толпа. Отозвалась волнами всплесков, приглушая чей-то одинокий голос, напряженно выкрикнувший что-то, — чего никто не расслышал, но все поняли...

Тем яростнее стучат ладони, перекрывают друг друга возбужденные, радостные — стыдно-радост-

ные голоса. Верить, верить, верить! По заутреннему.

«Пасха Новая, Пасха Святая»...

Но все поняли: понял и Керенский. Он темнеет и отвечает — на вызов — вызовом:

«Соглашение, заключенное между Исполнительным Комитетом Государственной Думы и Исполнительным Комитетом Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, одобрено Советом Депутатов большинством нескольких сот голосов против пятнадцати»...

И снова взвивается, как флаг, красный платок, и снова, еще самоотверженнее, стучат ладони.

А Керенский, переждав, продолжает:

«Первым актом нового Правительства является немедленное опубликование акта о полной амнистии».

Сухо отбивая слова, говорит министр юстиции. Но смысл слов — не доходит до сознания... Как сквозь сон, вижу, через размеренные темпы, отмечающие переходы — мигание красного платка...

Усталость... И то: с 27-го — мы еще не закрывали глаз.

Голос повышается: кончает. На этот раз я слышу ясно его заключительные слова:

«Слушайтесь ваших офицеров. Да здравствует Свободная Россия!»

«Ура!..» Сотни рук тянутся принять нового министра — для триумфа.

С сознанием *права* уйти, медленно ухожу я из зала. Домой. Спать.

И пока по оживленной пешеходами, топочащей улице — я подхожу к своему академическому флигелю, обгоняя людей, бережно, словно «страстные свечи», разносящих по городу переживания этой исторической ночи, — неотвязно стоит в голове мысль — о красном платке, так неожиданно, так бесстыдно, оказавшемся в руках министра юстиции. Не знаменем бунта веял он, — но тем кровавым сигналом, что взвевала над городами, в далекие дни, — правительственная власть — в знак того, что страна об'явлена «на военном положении»....

Что-ж. Будем биться...

Воистину: «слишком мало еще было крови».

ДЕНЬ ТРЕТИЙ.

АРЕСТ НИКОЛАЯ II ПЕТЕРБУРГСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ.

9-го марта, утром, когда я, по обычному, пришел на работу в военную секцию Петербургского Совета, в глаза метнулось странное малолюдство в ее залах. В предшествовавшие дни, с самого переворота у нас вечно была невероятная толкотня. Петербургский Совет попрежнему был еще на боевом положении, и хотя «по штемпелю» он и звался Советом Рабочих — прежде всего Рабочих, а лишь затем Солдатских — Депутатов, — на деле пульс очередного дня всего напряженнее и крепче бился именно в солдатской — военной — его части. В солдатской массе — ярче, острее переживался революционный перелом, разрыв со старым, привычным, только вчера развенчанным для него миром, — от которого рабочий класс, если не на деле — то хоть в мысли, хоть в песне — отрекся уже давно. И если рабочих — минувший период борьбы, смена побед и падений ввели в «политику» и тем самым ввели в «компромисс» (ибо, что такое «политика», как не искусство «компромисса»), то солдаты, безмерно далекие от всяких политических хитросплетений, мыслили «напролом»: компромисс 3-го марта, вознесший над февральскими баррикадами «людей

Временного Правительства», так и остался для них несмотря на все раз'яснения «лидеров» — делом «темным»: внутренно они не приняли его, и правящим центром для революционного гарнизона Петербурга безраздельно был его «собственный» Совет: сюда, и только сюда — шли солдаты (и солдатки) со всеми своими нуждами, мыслями, подозрениями. В военной секции, поэтому, круглые сутки толпился народ. Каких только дел ни приходились нам разбирать в эти лихорадочные, счет часам потерявшие дни! От вопросов об организации высшего командования, об офицерских правах (даже о «праве офицеров носить оружие») и вплоть до вопросов о разводе, крещении детей и т.п. Не перечесть.

И круг, и численность этих вопросов ширились день ото дня. Тем страннее казался внезапный спад волны, сегодня — на десятый день революции. В комнатах секции было почти пусто. Я прошел в помещение Союза офицеров республиканцев, разместившегося в исторических комнатах 41-й и 42-й, где в ночь переворота помещался наш повстанческий штаб. Но и там я застал всего двух-трех приезжих офицеров, да дежурного по союзу.

«Где же все наши?»

«Было срочное распоряжение Исполкома с утра остаться при своих частях. Мы и Вам звонили, да не застали уже дома».

«Что нибудь случилось?»

Дежурный пожал плечами: «Не должно быть. В городе тихо. Сейчас говорил по телефону с преображенцами и лейб-гренадерами. Нового ничего».

В коридоре столкнулся с секретарем Исполнительного Комитета. Как всегда, вихрястый, взлахмоченный, улыбающийся — концы длинного распущенного галстуха пляшут не в такт его быстрой походке. Ухватил меня за пуговицу френча: «Вы почему не на заседании?»

Исполнительный Комитет все эти дни заседал непрерывно, но мы, работавшие в военной секции, почти не заглядывали на заседания эти: там шла «высокая политика» — пляска по канату, с Милюковым на шее и Родзянкой вместо балансира в руках: занятие, которое мы, «крайние левые», искренно считали «беллетристикой». Мы не сменяли, поэтому, на нее — непосредственно-практическую и необходимую работу среди солдатских масс, торопясь закрепить ее за собою и изготовиться, таким образом, к той «борьбе за армию», исходом которой, по нашему сознанию, должен был разрешиться спор между «нами» и «ими», между Временным Правительством и Революцией.

Мы ходили в Исполком только по «своим», секционным, делам, если требовалось что-нибудь проштемпелевать свыше, или, как мы говорили — «прочхеидзить». Исполком, со своей стороны, тоже не тревожил нас. И если на сегодня нас, военных членов Исполкома, вытребовали на заседание, — значит, действительно, предстояло «дело».

Широко и гостеприимно раскрытые, обычно, двери Чхеидзовского кабинета, в котором шло заседание, на этот раз оказались не только припертыми, но и строжайше охраняемыми. Караул был

усилен, пропускали только членов И. К.: это тоже — признак.

Когда мы вошли, Исполнительный Комитет был уже в полном составе. И сразу почувствовалось настроение необычное.

Правда, по внешности, все идет, как будто, своим чередом. Н. Д. Соколов, разметав всклокоченную бороду по жилету, в неизменном, фалдами разметающемся сюртуке — как всегда запальчиво, повышенно закидываясь на каждой реплике оппонентов «с места», продолжает, видимо, — давно уже начатую речь. Как всегда сухо и едко улыбается толстыми странно-бескровными губами желто-серое безбровое лицо Суханова. Как всегда, молчалив и внимателен — весь закругленный, «по-флотски» чистенький Филипповский. Как всегда, грузен жестом, мыслью и словом, заслоняющий худенькую остробородую, русую фигурку Скобелева — Стеклов...

Все как обычно. Но необычно напряжена атмосфера. Особо резко звучит сегодня акцент председательствующего Чхеидзе и особо резко горят его утомленные, черные глаза.

Отрывистым шепотом, сосед вводит меня в курс происшедшего: в ночь Исполком получил сведения, что Временное Правительство решило бывшую императорскую фамилию, во главе с Николаем II, только что после растерянной мотни между Псковом и фронтом, вернувшимся в Царское Село, и «формально» (специальным актом Временного Правительства) лишенным свободы — «эвакуировать» сегодня, 9-го марта — в Англию. Во избежание каких-либо эксцессов по дороге — сопровождать

«фамилию» до Архангельска, где «высылаемые» должны были (под гром салюта, конечно) погрузиться на английское судно — взялся сам Керенский, — по должности прокурора... необ'явленной Республики... Акт об «арестовании» — оказался, как и следовало ожидать, только «маневром» для убаюкания нашей бдительности.

Решением этим династический вопрос ставился перед Исполнительным Комитетом Совета беспощаднее и ярче, чем стал он в свое время перед французами Великой Революции в дни Вареннского бегства Людовика. Ибо для него речь шла не только о династии, но и о Временном Правительстве: компромисс 3-го марта был под угрозой оказаться развеянным по ветру.

Ясен был расчет Милюкова и Родзянки: задуманным актом «похищения» — они думали форсировать разрешение более всего тревожившего их монархические (хотя и не слишком верноподданные) сердца вопроса — о будущем государственном нашем строе; форсировать, в расчете на то, что тот дух «празднословия и уныния», что заставил руководителей нынешнего Совета передать им власть после переворота — достаточно жив в меньшевистских креслах Советского Президиума, и содружеству Милюкова, Керенского и Корнилова (только что принявшего командование войсками Петроградского Округа) удастся без «внутренних» осложнений предрешить явочным порядком сохранение монархии. Ибо — на деле: к чему могло привести Архангельское бегство, как не к реставрации монархии в кратчайший же срок?

Ведь перед глазами достаточно отчетливо, достаточно внятно стояли буквы текста отречения: чтобы стереть их не надо было даже смелого жеста клятвопреступника. Он был достаточно двусмыслен, этот текст, даже для «правового» обоснования возвращения «на прародительский престол».

Контр-революции необходимо было не выпустить «монарха» из игры: пусть, сам по себе, он был неопасен: ведь для каждого из тех, кто мог присмотреться к нему за долгие годы его царствования — было ясно, что он доподлинный «король» шахматной партии, лишь «неприкосновенностью» отличенный от простой пешки... Но на первый же ход этой венценосной пешки — потянутся, по тем же, веками освященным правилам игры, и офицеры, и кони, и туры... И если на игру эту наложит свою властную и искушенную в сих делах руку еще и Великобритания, под родственный кров которой спешат укрыться Романовы — нелегко нам дастся мат — уже под шахом ныне стоящему — бессильному, точеному болванчику... Если только он дастся вообще... Ибо — при нынешнем расположении «фигур», мы легко могли проиграть раньше, чем успеем развернуть свою игру. И тогда — реставрации — не избежать.

Но — они перемудрили, Родзянко и Милюков: «реставрация» — это звучало слишком резко даже для меньшевистского Исполкома... Тем более, что он не мог не знать, как, не словом, но действием — отозвались бы революционные массы Петербурга на весть об отправке царской семьи за рубеж — на фронт иноземной и отечественной контрреволюции... Временное Правительство не рас-

считало удара: в заседании 9-го марта — среди выступавших ораторов (а выступали, без малого, все) — не оказалось двух мнений. Все, созвучно, утверждали: революция должна оградить себя от всякой возможности восстановления монархии; перчатка, брошенная Временным Правительством, решившим этот — существеннейший для судеб революции — вопрос единолично, за спиной Исполкома, — должна быть поднята...

Но как поднять ее? на этом — запинались ораторы. И в скольких речах — и как ярко — чувствовалось, что заседание наше перекрывала еще тяжелая тень «векового трона»: он был пуст — но он еще не был повержен, разбит в щепы...

Слишком долго и слишком путанно задерживались ораторы на вопросе о том, в какой мере «лично» опасен бывший монарх — и кто из великих князей может и должен подойти под категорию «угрожающих» будущей Республике... Мерою опасности, естественно, определяется мера пресечения: вот почему — столь безудержно страстные в заявлениях своих об опасности монархии, члены И. К. тускнели, потупляли глаза, когда, логическим ходом, мысль заставляла их говорить о судьбе монарха. Были секунды, когда казалось, что столь страшное для меньшевизма, столь ранящее слух слово — «цареубийство» — уже готово спуститься на нас... как огненные языки на головы апостолов... Но оратору перехватывал горло уже поднятый его мыслью звук — и вновь затягивала собрание зыбкая, туманная пелена — полунамеков, полупризнаний, полуклятв...

Все облегченно вздохнули, поэтому, когда кто-то торопливо внес предложение о прекращении прений: «Время не терпит, пора к делу».

Чхеидзе ставит на голосование вопрос: «Допустить ли от'езд царской фамилии? Кто против?»

Как одна поднялись дружным, нервным взметом руки.

«Но если так, — надо принять меры к тому, чтобы подобные покушения стали, раз навсегда, невозможны: ведь Временное Правительство может повторить, при первом удобном случае, попытку. Республика должна быть обеспечена от возвращения Романовых на историческую арену. Стало быть, «опасные» должны быть в руках непосредственно у Петербургского Совета. У нас — не у «временных». Не у «временных»...

«Возражений нет? Более точную формулировку? Излишне: она определится событиями».

И снова — никаких разногласий. Переходим к практической части. Президиум осведомляет нас о предварительных мерах, принятых им уже с раннего утра. Весь состав верных Совету офицеров (Союз офицеров республиканцев) мобилизован. Рабочие боевые дружины в районах поставлены под ружье. Все вокзалы уже заняты ближайшими к ним воинскими частями, под руководством специально командированных Исполкомом эмиссаров. Теперь, в связи с состоявшимся решением пленума и «сообразуясь с духом его» (еще раз мрачно блеснул глазами Чхеидзе) — остается довершить начатое — в Царском Селе, где находится царская фамилия. Отряд для этой цели — Семеновцы и рота пулеметчиков, за которую головой ручаются

ее офицеры — уже отправлен на Царскосельский вокзал. Исполкому надлежит только указать чрезвычайного эмиссара, который примет командование над этим отрядом — и выполнит только что принятое решение.

Слово берет опять Н. Д. Соколов. Он формулирует требования, которым должен удовлетворять эмиссар — при наличии столь общей, столь туманно формулированной директивы: ибо «решать» — фактически придется там, на месте, и решением этим определится весь ход ближайших политических событий... «В таких условиях одинаково опасны — и горячность, и нерешительность». «Любой ценою» должна быть выполнена сегодняшняя задача — но цена, какова бы она ни была — «должна быть определена без ошибки»...

Сосед, наклонившись, говорит мне что-то невнятное на ухо. Переспрашиваю, и в это время слышу свою фамилию.

Обертываюсь.

Соколов мотивирует предложение моей кандидатуры. Я чувствую на себе взгляды собрания настороженные, испытующие... Чхеидзе спрашивает, согласен ли я принять поручение.

Исполнительный Комитет голосует. Против, воздержавшихся — нет.

«Поезжайте сейчас же. Отберите кого найдете нужным из ваших офицеров и трогайтесь. Мандаты сейчас получите. Автомобиль ждет»...

Кого взять? Все наши офицеры уже в разгоне по вокзалам, в районах. В «Союзе» — попрежнему

пусто: два, три знакомых по «первым дням» офицера... Из них — штабс-капитан Тарасов-Родионов, пулеметчик, сам вызывается ехать; другой — Любарский — отказывается, хотя в мой отряд входит и его Семеновская рота.

Едем с одним Тарасовым: на этого можно положиться целиком — спокоен и любит опасность.

Уже сидя в автомобиле, принимаю мандаты. Первый из них, на мое имя, гласит: «По получении сего немедленно отправиться в Царское Село и принять всю гражданскую и военную власть для выполнения возложенного на Вас особо важного поручения». Второй — на имя Царскосельских властей: о подчинении и всемерной помощи мне «при выполнении порученного мне особо важного государственного акта».

У здания вокзала, на площадке, фронтом к главному в'езду, окруженный плотным кольцом зевак — строй семеновцев, при офицерах: к левому флангу примкнулась рота пулеметчиков.

Здороваюсь коротко, по-фронтовому. Отрывистая, гулкая команда, ряды вздваиваются, заходят. Обмотанные крест на крест поблескивающими частою медью патронов лентами, пулеметчики вскатывают на руках по каменным ступеням приземистые, ворчливые пулеметы... У входа встречает нас Гвоздев, член И. К. (будущий министр труда), с огромной, красной розеткой в петлице. «Все пока идет, как по писаному: телеграф и телефон заняты, начальник станции и комендант арестованы без сопротивления; вагоны для вас прицеплены к оче-

редному поезду и самый поезд задержан: немедленно по посадке можно отправиться».

Отмыкая на ходу лязгающие, темные штыки, ломая строй, рассыпаются по вагонам солдаты. Оцепление, выставленное занявшими вокзал егерями, осаживает пытающихся проникнуть к нашему составу любопытных. Некто, — особо юркий, в зябком пальтишко, с поднятым воротником, вывертывается, однако, в последнюю минуту, сквозь цепь и подбегает к нашим окнам в тот самый момент, когда поезд, без свистков и звонков, медленно трогается.

— Куда вы?.. Куда? — отчаянно кричит он, цепляясь за поручни переполненной солдатами площадки. И столько мольбы и неподдельного отчаяния в этом возгласе, что по солдатским лицам — с площадки перекидываясь в вагон — лучем змеится улыбка.

— Ты кто? Откель взялся?

— От газеты... От «Русской Воли» корреспондент.

— Ах, язви те... Прими руки, шантрапа!

— Скажи там: поехали семеновцы — к царю в гости... Берегись, под приклад попадешь...

«Корреспондент» выпускает поручень, беспомощно взмахивает рукой, припрыгивая на месте, в такт быстро набирающему ход поезду... И исчезает из вида.

Солдаты улыбаются еще секунду. Затем улыбка сбегает: хмурым, настороженным становится вагон..

. . .

Мы ехали без песен. И чем ближе было к Царскому — мрачнели сосредоточенные лица солдат,

неотрывно смотревших в окна, на мчавшиеся навстречу полосатые, напуганно кренившиеся верстовые столбы. Голоса становились хриплыми. — «В горле пересохло». А ведь инеем, застылым, разубраны были ели и сиротливые березы перелесков.

«Вы знаете?», озабоченным шопотом докладывает один из офицеров: «Мы почти без зарядов едем: у людей всего по двадцати патронов и больше не захотели взять... винтовки не заряжены. Только у пулеметчиков комплекты». И, помолчав: «как бы заминки не вышло, если»...

«Ничего — перешагнут, если понадобится... Только заранее не надо людей нервить. А что до патронов — если дело до них дойдет — возьмем в Царском у стрелков. Там — на всех хватит»...

. .

Тарасов-Родионов предлагает учинить нечто вроде военного совета. Но я отклоняю предложение: советоваться не о чем. План действия для меня уже сложился; первые распоряжения я отдаю тут же. Остальные дам после высадки.

Не доезжая Царского, на последнем перегоне, снижался, снижался солдатский говор и затих. Среди жуткой, напряженной тишины под'ехали мы к вокзалу. Солдаты крестились, примыкая штыки...

Высадка прошла быстро и сноровисто. Сразу повеселели, подтянулись семеновцы, когда, покрикивая ржавыми голосами своих тяжелых колесиков, в перегон друг другу, выкатились на асфальт вокзала пулеметы. Телефон, телеграф заняты с раз-

бега, без приключений. Начальник станции, оторопевший до дрожи в первый момент, отошел сразу, когда узнал, что арест его — негласный: все сводится лишь к безотлучному наблюдению приставленного к нему офицера. Команды разместились в зале III-го класса, составили ружья.

Комендант станции показался мне предупрежденным; на мое предложение: потребовать к вокзалу автомобиль и вызвать немедля в ратушу начальника гарнизона и коменданта Царского Села, он ответил торопливо:

— Они оба уже в ратуше.

Я решил выехать в ратушу один, захватив с собою только Тарасова-Родионова и двух стрелков для связи; командование отрядом передал старшему после меня командиру семеновцев, с наказом держаться настороже на случай каких-либо покушений со стороны местных властей, о настроении которых нам ничего не было известно, а в случае, если через час я не вернусь и не передам через ординарцев или по телефону дальнейших приказаний, идти с отрядом в казармы 2-го стрелкового полка (по нашим сведениям, на этот полк, по революционности его, всецело можно было положиться), поднять стрелков и двинуться во дворец для выполнения возложенного на нас поручения: «Любой ценой — я повторяю, подчеркивая, — любой ценой обезопасить революцию от возможности реставрации. Смотря по обстоятельствам — или вывезите арестованных в Петербург, в Петропавловскую крепость, или ликвидируйте вопрос здесь же, в Царском. Но так или

иначе — чтобы это было накрепко. Перед выступлением сообщите в Петербург по телефону».

— Только, пожалуйста, не вызывайте подкреплений, — смеюсь я в заключение. — Нарушьте на этот раз традиции передовой линии. И пока что, распорядитесь, чтобы людей накормили...

Говорю — просто так, для порядка: если бы хоть на секунду поколебалось во мне твердое, радостное, внутреннее убеждение, что отряду не придется двинуться с вокзала, я, конечно же, никогда и никому не передал бы командования. Разве такие поручения передоверяют?

Подошел комендант в сопровождении нашего офицера (он тоже «на положении начальника станции»):

— Автомобиль подан.

Автомобиль — маленький, двухместный. Я сел с Тарасовым-Родионовым. На подножки стали с обеих сторон назначенные «для связи» ординарцы.

— В ратушу!

«Военные власти» — два ровненьких, совершенно одномастных, даже одинаково лысых полковника в аккуратно застегнутых сюртуках, с «Владимирами» в петлице — ожидали меня в одной из комнат верхнего этажа, драпировкой отделенной от зала, где у канцелярских столов вокруг «столоначальников» целыми табунами толпились посетители. Я пред'явил свои мандаты. Полковники переглянулись.

— Передать командование... Но, ведь, извините, мы не Петербургскому Совету, а Временному Правительству присягали. А эти документы не

имеют визы правительства. Значит, это сделано помимо его.

— Совершенно верно. Но должен ли я понять вас в том смысле, что вы... не склонны считаться с постановлениями Совета революционного гарнизона и революционных рабочих Петербурга?

Полковники опять переглянулись и враз затормошились.

— Что вы! Ведь Совет признан и самим Временным Правительством... Но вы же, как военный, должны понимать, что приказ может быть выполнен нами лишь в порядке подчинения. Мы подчинены генералу Корнилову, Командующему Войсками Округа, и поскольку привезенный вами приказ расходится с данными генералом инструкциями, мы его исполнить, не нарушая воинской присяги, не можем. Впрочем, мы сейчас вызовем его к телефону.

— Если бы я нуждался для выполнения своего поручения в генерале Корнилове, я привез бы вам не только его подпись... Оставьте в покое Корнилова. Тем более, что в данный момент я вовсе не предполагаю принимать от вас, по силе этого мандата, дела и командование. От вас требуется сейчас только одно: проводить меня к бывшему императору.

— Императору?!..

Один из полковников быстро потупился и отошел в сторону, второй нервным движением глубоко засунул руку за лацкан сюртука.

— Это совершенно невозможно. Мне формально и строжайше воспрещено даже называть кому бы то ни было дворец, в котором его величество находится.

— Вы отказываетесь?

— Я не отказываюсь, — торопливо трясет он головой, — но я должен предварительно получить разрешение генерала Корнилова.

Опять!..

— Слушайте, господа. Вы знаете, конечно, что я прибыл сюда с отрядом. Вместо того, чтобы терять время на разговоры с вами, я мог бы попросту поднять ваш гарнизон — одним взмахом руки, одним боевым сигналом. И если я не делаю этого, то потому только, что уверен выполнить свое задание без грома и треска, один — не вынимая оружия из ножен. Одним именем народа. С вами, без вас — дело будет сделано. Но как оно будет сделано — за это ответите вы. Если вы вынудите моих солдат взяться за винтовки — вы будете отвечать за кровь. Последний раз: где находится бывший император?

Комендант взглянул на начальника гарнизона, начальник гарнизона — на коменданта: и оба потупились...

— Да поймите же, что мы не можем... Присяга.

— Время идет. Пора кончать: в моем распоряжении только час... Или вы попробуйте меня арестовать, или я вас арестую.

Офицеры радостно подняли на меня глаза: выход был найден.

Арестовать вас, как представителя Исполнительного Комитета — мы не считаем возможным...

— Значит, не о чем разговаривать: вы арестованы, господа. И я спрашиваю вас уже, как арестованных: где бывший император?

— В Александровском дворце... Но вас туда не пропустят, даже если бы вы повезли нас с собой. Именной приказ Корнилова — без его личного письменного распоряжения — не пропускать никого, хотя бы даже из министров.

Но я не слушал дальше: время действительно шло... Повернувшись к выходу, я увидел у драпировки телефонный аппарат... Перевести арестованных в другое помещение. Опять — лишняя нервность. Уже одно появление моих ординарцев вызвало заметное волнение в канцелярии. А мне хотелось иметь за собою тыл, — по возможности, спокойным.

— Через час я окончу свое поручение. Дайте мне слово, что в течение этого времени вы не подойдете к телефону. Я оставлю вас тогда в этой комнате.

Опять переглянулись полковники. И ответили в голос: «даем слово».

Тарасов-Родионов скучал в автомобиле. Я сел...: «В Александровский дворец и — полным ходом, товарищ шоффер...»

* * *

У правого крыла дворца — наглухо припертые железные ворота. Часовой, — видимо, опознав комендантский автомобиль, — подошел на вызов, дружелюбно похлопал по крылу машины, но пропустить внутрь, за ворота, отказался наотрез. Запрещено настрого

— под страхом расстрела. Насилу добился вызова караульного начальника. Прапорщик, совсем еще зеленый, по детски-важный и взволнованный, как всегда бывает с молодежью в «ответственных» караулах — торопливо подтвердил запрет. «Никого и ни в коем случае».

— Я прислан с особо важным поручением от Петербургского Исполнительного Комитета. Что же мне — тут, на морозе — показывать свои документы. Никакая инструкция не предусматривает всех возможностей. И — вы меня простите, прапорщик, — не мне у вас, а вам у меня учиться...

Еще минута колебаний — и первый, труднейший шаг сделан: мы за решеткой, в помещении наружного караула. Тарасов остался в автомобиле — замещать меня — «на случай».

Я показываю прапорщику свои документы.

Юноша совершенно растерян.

— Что-же вам угодно?

— Пройти во внутренний караул.

— Но я и сюда не имел права пустить вас. Генерал Корнилов...

Опять это сакраментальное имя... Выплывает в памяти лукавое, под маской «солдатского» простодушия лицо, на недавнем заседании Исполкома с участием генералитета, — вкрадчивая речь «о великой чести командовать революционными войсками, первыми сбросившими иго...» Отчего, в глубине этих глаз, обводивших тогдашнее собрание наше таким ласковым, гладящим взглядом, чудилась мне затаенная, втянувшая в себя когти, как тигр перед прыжком, непримиримая злоба?..

— Приказ Корнилова... Есть приказы звучнее: Именем Революционного Народа. Вы проводите меня во внутренний караул.

— Но я не могу отлучиться с поста... Разрешите вызвать дворцового коменданта.

— Вызывайте, но — ни слова лишнего.

Короткое молчание: ждем. Прапорщик нервно оправляется. У притолоки разводящий упорно, хмуро смотрит в пол, на мои сапоги.

Комендант, ротмистр Коцебу появился через несколько минут. Круглый, подфабренный, подчищенный, вихляющий задом под кургузым уланским виц-мундиром. Взаимное представление. Прапорщик докладывает. Коцебу читает мои документы.

— Во внутренний караул? Ничего подобного. Начальник караула будет отвечать уже за то, что он пропустил вас за ворота. Мы имеем строжайшее распоряжение законной власти...

— А Совет — власть незаконная, по вашему, ротмистр? Начальник караула ни за что не будет отвечать. А вот вы, господин комендант... У вас, видимо, короткая память: с 27 февраля прошло всего 10 дней.

— Но ваш... comment dit-on.. Исполнительный Комитет должен понимать, что нельзя ставить людей в такое положение... Ваш же Совет признал Временное Правительство, как признаем его мы. А вы хотите, чтобы не выполняли его приказаний, и слушались воли...

— Чьей воли, ротмистр?

На секунду — наши взгляды скрестились... Коцебу закусил ус. Я улыбнулся.

— Досказать за вас? Не только «власти», — но и силы.

Улан оглянулся на дверь.

— Не пугайтесь, я один. Прибывший со мной авангард революционного петербургского гарнизона остался, пока, на станции. Ну, что же, идемте?

— Я сейчас протелефонирую Корнилову.

— Вы этого не сделаете.

Коцебу вздернул голову и смерил меня — с головы до ног. Повернулся и пошел к аппарату.

Я сделал шаг вперед... «В таком случае, ротмистр, вы арестованы».

Разводящий у притолоки вздрогнул, выпрямился и застыл. За дверью звякнули винтовки подымавшихся солдат.

Коцебу остановился, посмотрел на караульного начальника, на ефрейтора, пожевал губами и, поведя ожирелым плечом, процедил сквозь зубы:

— Вы применяете силу? Что же, ваше дело: идемте...

По каким-то проулкам, темными переходами, мы прошли в широкий подземный коридор, мимо запертых засовами, забитых дверей, около которых лишь кое-где застыло серели фигуры часовых. Наконец, послышался гомон, гул перекрестных голосов, — коридор вывел в обширную, скупо освещенную электрическими лампочками комнату, переполненную солдатами: за нею — вторая, — такая же и так же переполненная: на беглый подсчет — не меньше батальона.

— Здорово, товарищи! Поклон от Петербургского гарнизона, от Солдатского Совета.

Бодро и душевно, бесстройно отзывается казарма. Лежавшие подымаются с нар, грудятся к проходу. Коцебу, вобрав толстую шею в тугой воротник, торопится дальше.

— Какой полк?

— 2-й стрелковый.

Дело выиграно.

Я остановился: мгновенно наросла вокруг толпа. В коротких, резких словах раз'яснил я солдатам, в чем дело, — зачем меня прислал сюда Совет. И сразу — посумрачнели глаза, сдвинулись брови, ощетинилась только-что ласково гудевшая, беззаботная казарма.

— Мирно, по доброму, без крови, товарищи. Но твердо: как революционный народ хочет, так тому и быть. Петербург на вас надеется — видите, я один пришел к вам: вам передаем мы это дело... не выдадите.

— Не выдадим, товарищ. — Статочное ли дело... Разве мы не понимаем. Пока от Совета приказа не выйдет — не сменимся... — Пока стоим, не вывезут — ни прямиком, ни обманом...

Кто-то схватил меня за руку. Обернулся: нахмуренный, взволнованный поручик.

— Что вы делаете? Идите скорее — офицеры вас ждут.

Следом за ним я прошел в комнату, где толпилось вокруг ораторствовавшего Коцебу человек 20 офицеров. Все были явно и резко возбуждены.

Не успел я войти, как был охвачен тесным угрожающим кольцом. — Заговорили в перебой.

— Это Бог знает, что такое... Возмутительно... Только что стали успокаиваться — опять мутить, опять разжигать...

— Одну минуту, господа, — перекрикивает разноголосый хор — знакомый по лицу, где то давно виденному — немолодой уже прапорщик. Вспоминаю, кадет из младших «лидеров», — приходилось встречаться на междупартийных совещаниях. Он оттягивает меня за рукав в дальний угол — за драпировку.

— Вы меня узнали? Вы меня помните? Значит, можете мне поверить... Вы затеяли игру с огнем... Убить Императора в его дворце, поскольку он под нашей охраной, — полк не может допустить. Если комендант города, комендант дворца пропустили вас, это дело их совести... Но наши офицеры...

Я искренно засмеялся... — Разве у меня вид Макбета или графа Палена?.. это имя более знакомо гвардии. И разве каждый социалист-революционер — уже обязательно цареубийца?

— Но Коцебу говорит...

— За то, что говорит Коцебу — он и ответит... Я отвечаю за себя — только.

— По его словам, в вашем документе...

— Вот мой документ.

— Коцебу прав: ваше поручение... страшно средактировано; страшно; иного слова не подберу; в нем есть мандат на цареубийство.

— В нем есть худшее, если хотите. Но Коцебу все-таки налгал... Господа офицеры...

Рассказываю о плане «Варренского бегства», о решении Исполкома. И в мере того, как я говорю, как будто спокойнее становятся офицеры, только немногие, из старших, продолжают нервничать.

— Пусть так... Но все же — врываться во дворец; отстранять полк, так как вы его отстранили. И восстанавливать солдат против офицерского состава... Мы знаем, что у вас в Петербурге делается! Что вы им говорили?

Но младшие перебивают, оттирают потихоньку капитанов.

— Вы напрасно тревожились там, в Исполкоме. Стрелки безоговорочно примкнули к революции. Вы знаете, вчера, когда приехал бывший Император, мы чуть не с бою заняли караул: сводно-гвардейский полк ни за что не хотел сменяться, а мы ему не верим... Не можем верить; ведь он составлялся по особому отбору — там что ни человек — чья нибудь креатура. Мы все-таки добились своего. И ваше недоверие, согласитесь сами, не может не оскорблять нас...

— Причем тут недоверие! Если бы оно было—я не пришел бы так, как я есть, а привел бы к вам, под дворцовые стены, хоть целый корпус: Петербург и Кронштадт — не оскудели еще... Но поскольку арест может быть проведен со всею строгостью и здесь, без вызова в Петропавловскую крепость...

— Вывезти «его» мы не дадим, — мрачно говорит, отворачиваясь, старый капитан.

— Не провоцируйте меня, пожалуйста. Вы сами отлично знаете, что будет вывезен и он, и вы, и кто угодно, если бы это оказалось нужным. Но лишнего шума, еще раз, Совет отнюдь не собирается делать. Поэтому бросьте этот тон. Я не вижу надобности в увозе, после того, как поговорил с солдатами. По крайней мере, в данный момент. Солдаты обещали не сменяться — до получения приказа от Петербургского Исполнительного Комитета...

Офицеры, отойдя к окну, о чем-то совещаются вполголоса. «От имени полка» — отделяется от группы один из старших офицеров — «я даю вам слово, что пока полк будет занимать дворцовые караулы, ни бывший Император, ни его семья из этих стен не выйдут. А нести караулы полк будет бессменно, хотя бы для этого нам месяц пришлось не снимать оружия — впредь до получения указаний от Петербургского Совета. Вы удовлетворены?»

— Вполне. Нам остается только условиться о мерах охраны.

Приносят план дворца и прилегающей территории, роспись постов и караулов; по схеме охраны — дворец отгораживается тройным рядом караулов и застав. Кроме того, правое крыло дворца, в котором находится Николай, наглухо изолируется от левого, отведенного бывшей императрице и детям. По инструкции — никто — не только из членов бывшей императорской фамилии, но и прислуги — ни под каким предлогом не выпускается за дворцовую черту. Каждый, вошедший во дворец, с разрешения Временного Правительства, —

тем самым становится арестсванным. Обратного хода ему уже нет. Даже врач, поль ующий больных детей Николая Романова, входит к ним только в сопровождении дежурного офицера.

— Будьте уверены: и мышь не проберется....

На очереди — последний акт: поверка караулов. «Убедитесь сами, что капкан защелкнут наглухо».

— Да, но для этого мне надо еще предварительно убедиться, что «зверь», действительно, в капкане... Вам придется пред'явить мне арестованного...

Собеседники мои даже вздрогнули. И, нахмурившись, потемнели сразу...

— Пред'явить Императора? — Вам?.. Он никогда не согласится...

— Что за мысль? Да — ведь это хуже, чем...

— Не стесняйтесь: чем цареубийство. Совершенно верно. Поэтому то я и настаиваю...

— Бесцельная жестокость... — горячится юный, безусый еще, во френче с иголочки, подпоручик. — Ведь вы, на самом-то деле — нисколько не сомневаетесь, что он здесь, внутри оцепления... Что же, по вашему, полк станет комедию ломать, стеречь пустые комнаты, что ли? Мы все видели его. Мы даем вам честное офицерское слово, что он — замкнут. Вам недостаточно нашего честного слова? Вы не верите офицерскому честному слову?

Опять звучит в голосах угроза. И мирный исход, только что казавшийся обеспеченным, начинает подергиваться зловещей, багрянеющей дымкой. Потому что, чем резче, чем горячее убеждают

меня офицеры, тем яснее для меня вся важность — вся неоценимая важность этого «пред'явления», о котором я, в первый момент, сказал почти что машинально: просто казалось мне нелепым вернуться в Петербург с докладом о ликвидации царского от'езда, о закреплении Романова в царскосельском аресте, не видав самого арестованного. Настроение офицеров, их яростный, внутренний, психологический протест — прояснили мне сознание: я понял, что этот акт унижения — да, унижения — необходим; что даже не в аресте, а именно в нем существо моего сегодняшнего посланничества. Ни арест, ни даже эшафот — не могут убить — никогда не убивали — самодержавия: сколько раз, в истории, проходили монархи под лезвием таких испытаний, — и каждый раз, как феникс из пепла погребальным казавшегося костра, вновь воскресала, обновленная в силе и блеске, монархия. Нет, надо иное. Тем и чудесен был давний наш террор, что он обменял на физиологию — былую мистику «помазанничества»... И теперь — пусть, действительно, он пройдет передо мной, по моему слову — перед лицом всех, что смотрят сейчас, со всех концов мира, не отрывая глаз, на революционную нашу арену — пусть он станет передо мной, — простым эмиссаром революционных рабочих и солдат, — он, Император, «всея Великие и Малые и Белые России Самодержец...» как арестант при проверке в его былых тюрьмах... Этого ему не забудут никогда: ни живому, ни мертвому...

Я категорически требую пред'явления.

Офицеры почувствовали, что в этом пункте я не уступлю, и вызвали, наконец, графа Бенкендорфа,

церемониймейстера. Если офицеры вздыбились, легко представить себе, что сталось со стариком. Он весь, в буквальном смысле, запенился и в первый момент не мог произнести ни слова. «Пред'явить»... Его Величество?.. Что за наглое слово... И кому... бунтовщику!.. Будем называть вещи своими словами: бунтовщику!!?

Он наотрез отказался «даже доложить об этом Его Императорскому Величеству».

Опять начались пререкания. Я вынул часы: «Скоро час, как я уехал со станции, на которой меня ожидает мой отряд: если я сейчас не сообщу командиру отряда, что все идет благополучно — это будет сигналом. Через четверть часа семеновцы будут у дворца, — а Петербург двинет вслед за моим авангардом свои войска на Царское. Судьба Временного Правительства, бывшей династии, всей России, наконец, снова станет на карту. И гадать ли, чья карта будет бита? Реальная сила, действительная сила — у нас в руках, безраздельно. Прислушайтесь к Вашим подземным казармам. Разве мне недостаточно вынуть из ножен шашку? И ответственность за то, что произойдет — падет полностью на вас: я сделал все, чтобы избежать крови. Не теряйте же времени понапрасну. Колесо истории не удержать: оно перемелет вам ваши мизинцы»...

Новая делегация к Бенкендорфу. На этот раз, после недолгой борьбы (я следил за минутной стрелкой), церемониймейстер, в свою очередь — «уступил насилию»: «он будет, конечно, жаловаться, от имени всех, на неслыханное издевательство: Временному Правительству, генералу Корнилову...

Вы жестоко поплатитесь». — «С наслаждением. Но к делу, к делу».

Устанавливается ритуал. Император будет мне пред'явлен во внутренних покоях, у перекрестка двух коридоров: он пройдет мимо меня, а не навстречу. Я от души расхохотался: «сделайте одолжение, если вас и его может утешить этот... котильон»...

Пока «предваряли монарха» — я позвонил на станцию предупредить о скором своем возвращении — и в наружный караул, чтобы впустили в караульное помещение дежурившего в автомобиле Тарасова-Родионова. Оказалось, впрочем, что он давно уже там — и самым мирным образом обедает с караульным начальником.

.

На «пред'явление» со мной пошли: начальник внутреннего караула, батальонный, дежурный по караулу, рунд. Долго, демонстративно-долго возились с тяжелым висячим замком массивной входной двери, запертой еще, кроме того, на ключ. У двери этой стоял сильный караул — ближайший к арестованным воинский пост: внутри замкнутого оцеплением крыла дворца — не было ни одного солдата: мера, в высшей мере рациональная — ибо она раз навсегда исключала возможность общения арестованных с внешним миром — неизбежного, если бы «узники» могли подойти к страже. Ибо, как доказывает извечный опыт — нет стражи, которая устояла бы перед соблазном — жалости, уважения или подкупа... А при данной системе Николай Романов оказывался в буквальном смысле слова «замурованным» в этом — наглухо, без малейшей

связи, отрезанном от мира дворцовом крыле — со своими лакеями и поварятами.

Но внутри этой клетки все было оставлено Временным Правительством попрежнему — так, как было оно до катастрофы, в былой расцвет «Большого Императорского Дворца» — со всей его роскошью, со всем его ритуалом. Когда, сквозь распахнувшуюся, наконец, с ворчливым шорохом дверь мы вступили в вестибюль, — нас окружила — почтительно, но любопытно, — фантастической казавшаяся на фоне «простых» переживаний революционных этих дней — толпа придворной челяди. Огромный, тяжелый, как площадной Александр Трубецкого — гайдук, в медвежьей, чаном, шапке; скороходы, придворные арапы, в золотом расшитых, малиновых бархатных куртках, в чалмах, острыми носами загнутых вверх туфлях; выездные — в треуголках, в красных, штампованными императорскими орлами отороченных пелеринах. Бесшумно ступая мягкими подошвами лакированных полусапожек, в белоснежных гамашах — побежали перед нами вверх, по застланным коврами ступеням, лакеи «внутренних покоев»... Все по-старому: словно в этой, затерянной среди покоев дворцовой громаде — не прозвучало и дальнего даже отклика революционной бури, прошедшей страну из конца в конец.

И когда, поднявшись по лестнице, мы «следовали» сквозь гостиные, «угловые», «банкетные», переходя с ковров на лоснящийся паркет и вновь коврами глуша дерзкий звон моих шпор, — мы видели, у каждой двери застывшими парами — лакеев, в различнейших, сообразно назначению комнаты, к ко-

торой они приставлены, — костюмах: то традиционные черные фраки, то какие-то кунтуши... белые, черные, красные туфли, чулки и гамаши... А у одной из дверей — два красавца лакея в нелепых малиновых повязках, прихваченных мишурным аграфом, на голове — при фраке, белых чулках и туфлях...

В верхнем коридоре (под стеклянной крышей), обращенном в картинную галлерею, — нас ожидала небольшая кучка придворных, во главе с Бенкендорфом; здесь же вертелся, еще до нас, «при переговорах» проскочивший Коцебу. Придворные были в черных, наглухо застегнутых сюртуках. Шагах в шести-восьми от места нашей встречи со свитой — коридор пересекался, на крест, другим: по нем-то и должен был выйти ко мне бывший император.

Я стал посередине коридора: правее меня Бенкендорф, по левую руку Долгорукий и еще какой-то штатский, которого я не знал в лицо. Несколько отступя кзади стояли пришедшие со мной офицеры.

Бенкендорф, не сдержавшись, стал мне шептать на ухо (здесь все говорили вполголоса — ведь «Его Величество изволили быть в соседних покоях») — что-то об «оскорблении Величества», о том, что «только исключительная снисходительность монарха, его искреннее желание сделать все, чтобы успокоить своих заблудших, — но верных, что бы там ни говорили.. верных ему подданных —заставило его пойти навстречу моему заявлению, которому он лично, Бенкендорф, не находит названия...» Мое имя ему известно; он знал отца, помнит деда. «И как вы, именно вы, с прошлым вашего рода — могли

пойти на такое оскорбление Величества!.. Если бы еще кто-нибудь из этих parvenus, там — в Таврическом — из этих, как они называются: на «идзе». Но вы! И в таком виде!»

Вид у меня, действительно, был «Разинский»: ведь со дня переворота почти не приходилось раздеваться. Небритый, в тулупе с приставшей к нему соломой, в папахе, из-под которой выбиваются слежавшиеся, всклокоченные волосы. И эта рукоять браунинга, вынутого из кобуры, так назойливо торчащая из бокового кармана. Долгорукий не сводит с нее глаз...

Где-то в стороне певуче щелкнул дверной замок. Бенкендорф смолк и задрожавшей рукой расправил седые бакенбарды. Офицеры вытянулись во фронт, торопливо застегивая перчатки. Послышались быстрые, чуть призванивающие шпорой, шаги.

Он был в кителе защитного цвета, в форме лейб-гусарского полка, без головного убора. Как всегда подергивая плечом, и потирая, словно умывая, руки, он остановился на перекрестке, повернув к нам лицо — одутловатое, красное, с набухшими, воспаленными веками, тяжелой рамой окаймлявшими тусклые, свинцовые, кровяной сеткой прожилок передернутые глаза. Постояв, словно в нерешительности, — потер руки и двинулся к нашей группе. Казалось, он сейчас заговорит. Мы смотрели в упор, в глаза друг другу, сближаясь с каждым его шагом. Была мертвая тишина. Застылый — желтый, как у усталого, затравленного волка, взгляд императора вдруг оживился: в глубине зрачков — словно огнем колыхнула, растопившая свинцовое безразличие их — яркая, смертная злоба.

Я чувствовал, как вздрогнули за моей спиной офицеры. Николай приостановился, переступил с ноги на ногу и, круто повернувшись, быстро пошел назад, дергая плечом и прихрамывая.

Я выпростал засунутую за пояс правую руку, приложил ее к папахе, прощаясь с придворными, и, напутствуемый шипением брызгавшего слюной Бенкендорфа, двинулся в обратный путь. Мои спутники подавленно молчали. И только в вестибюле, один из них, укоризненно качнув головой, сказал: «Вы напрасно не сняли папахи: Государь, видимо, хотел заговорить с вами, но когда он увидел, как вы стоите...»

А другой добавил: «Ну, теперь берегитесь. Если когда-нибудь Романовы опять будут у власти, попомнится вам эта минута: на дне морском сыщут»...

«А Бенкендорф, Бенкендорф-то' Все-таки трогательно. Эдакий преданный старик»...

На вокзале меня встретили нескрываемой, шумной радостью. Весело звенели «освобожденные от ареста» телефонные звонки, словно наверстывая вынужденное свое молчание. Начальник станции, раскрасневшийся, неудержимо говорливый, хлопотал о вагонах. Солдаты, разобрав винтовки к посадке, воинственно щелкали затворами, словно насмехаясь над их ненужностью. И в путь тронулись с такой перекатной песнью, словно гора с плеч свалилась у всех, И радостно было сидеть в спертом воздухе набитого битком, махоркой задымленного до тумана вагона: так любовно смотрели прямо в глаза эти хмурые по утру семеновцы... Тарасов-Родионов вкусно рассказывал о дворцовой

кухне, на которой он успел побывать, и о том, как пышно кормят «арестованных венценосцев».

Только под вечер попал я в Исполнительный Комитет: пришлось первоначально проехать на Варшавский и Балтийский вокзалы — снимать охрану. Первый доклад сделал — прямо с вокзала уехавший на броневике в Таврический Тарасов-Родионов. Мне пришлось только дополнить фактически — и еще больше «беллетристически» его сообщение — по необходимости краткое, так как он во внутрь дворца не входил. Председательствовавший на заседании Скобелев, передав мне благодарность Исполкома, сообщил о состоявшемся с Временным Правительством соглашении, в силу которого при арестованных будет отныне состоять специальный — обеими властями «аккредитованный комиссар Исполнительного Комитета» «по арестованию и содержанию под стражей особ бывшей императорской фамилии». Он тут же вручил мне мандат на это звание, выразив надежду, что я «продолжу начатое 9 марта дело так же, как.. и т. д., и т. д.».

Меньшевики никогда не отличались чуткостью. Скобелев искренно был удивлен, когда я отказался от предложенной «чести» наотрез. Ни он, ни Чхеидзе не поняли, что с'ездить в Царское, как ездили мы 9-го марта, и быть «комиссаром по арестованию» — не одно и то же...

Впрочем, врученный мне мандат я захватил с собой, на память ребятам.

Через день появилось официальное сообщение Совета о событиях 9 марта. Я «не узнал» своей поездки: там говорилось о том, как мы «охватили плотным кольцом броневиков, пулеметов, артиллерии — дворец» и тому подобное... — «К чему это? — спросил я в душевной простоте составителя отчета. — Ведь вы же знаете, что на всем пути я прошел один, одним — «Именем Революции».

«Пустое! Так гораздо эффектнее. Разве с массами можно так? Романтика! Это для кисейных девиц годно, а не для рабочих и солдат»...

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

25 ОКТЯБРЯ.

Восемь часов утра.

Задорно и весело застучали в дверь спальни стальные дула винтовок.

— Гей-да! Заспался! А мы уж Государственный банк заняли...

Голоса матросов — товарищей Кронштадтской организации. Открываю:

— Вы зачем?

Ввалились гурьбой, знакомые и незнакомые. Все одинакие, ровные, улыбающиеся, радостные, вооруженные до зубов. Так и пышет от них жизнью. Смеются:

— За солью зашли.

— За какой солью?

— Керенскому на хвост посыпать. Чтобы не улетел...

— И не чирикал, — добавляет старшой, приземистый, рыжий, заросший до самых бровей, из-под которых ласково глядят серые, ясные глаза.

— Ну и народ! А резолюция?..

(Несколько дней назад, я ездил в Кронштадт по вызову тамошней организации и на партийном совещании, после митинга в Морском манеже, принята

была совершенно единодушная резолюция: в случае попытки большевиков поднять восстание до С'езда Советов — не выступать).

— Резолюция? Одно дело — резолюция, другое дело — революция. Подпоясывай чресла, батя. В городе порохом пахнет...

В городе, впрочем, порохом не пахло: власть фактически лежала на земле. Чтобы поднять ее, не зачем было «опоясываться»: достаточно было нагнуться...

* * *

На самом деле. Уже с первых мартовских дней Временное Правительство явственно и быстро двинулось под уклон: его обреченность стала очевидной уже в эпоху апрельского и майского кризисов, приведших к премьерству Керенского, как последней ставке буржуазии. Прививка Черново-Авксентьевского социализма к Милюковскому стволу, как и следовало ожидать, лишь ускорила распад древесины третье-мартовского «дерева свободы». В решающей для дальнейших судеб движения борьбе между «правыми» и «левыми» за армию, Керенский, с его причудливым штабом из социал-революционеров и архи-гвардейцев, безнадежно и головокружительно проиграл. После же июньского наступления, — судорожной попытки «премьера» выпрямить свой, отчаянно прогибавшийся политический фронт, — развал власти стал развиваться в буквальном смысле катастрофически: в момент Корниловской авантюры Керенский был уже политическим мертвецом. А поскольку мартовская власть им начи-

налась и им кончалась, — его «кризис», его катастрофа были, естественно, кризисом и катастрофой всей власти в целом.

Соответственно этому, быстро и уверенно росло в массах влияние большевиков, единственной революционной группы, от первых дней открытого своего выступления перед массами, последовательно проводившей лозунги немедленного «реального» мира и «наглядной» до полной «экспроприации экспроприаторов» доведенной Социальной Революции. Особую силу приобрела их агитация с приездом Ленина, на 1-м же, майском, с'езде крестьянских депутатов выступившего с предложением «пощупать капиталистов», — и вместо «землеустроительной канители», со всяческой статистикой и тому подобным крючкотворством приступить к непосредственному захвату земель.

Первую атаку Ленина на крестьянство «старым» социалистическим партиям удалось, впрочем, коекак отбить. Помню, какой переполох в Исполкоме вызвало сообщение о выступлении Ленина на крестьянском с'езде, привезенное запыхавшимся, прямо с поля брани, «ординарцем» «командующего Исполкома» Чхеидзе. Как искали меньшевики «инока», которого можно было бы послать против этого... печенега, — инока, достаточно мускулистого на язык: потому что в прениях «печенег» был тяжел на удар, а «трудовое селянство», как известно, склонно к глумлению... Метались между Богдановым и Скобелевым и кончили тем, что (стиснув зубы) попросили ехать Марусю Спиридонову... С'езд, по выражению Чхеидзе, «удержался на наклонной плоскости»; крестьянство осталось за народниками;

зато в армии — пропаганда немедленного мира и «братания» быстрее быстрого вырвала почву из-под ног насаженных Керенским комитетов и комиссаров. Неменьший отклик находили идеи большевизма и в рабочих кварталах. В итоге: основной лозунг левого, революционного крыла «движения»: «Вся власть Советам» к осени стал подлинным боевым кличем масс, еще ждавших своей революции, так как февральский переворот не только не изменил ни в чем их положения (он не дал им — ни мира, ни земли, ни хлеба, ни воли...), но в силу бескровности своей, отсутствия борьбы, оставил всю их, — годами накопленную революционную энергию, — не разряженной. И Ленин, чутко воспринимавший эту напряженность, торопил свой центральный комитет «покончить». «Довольно тянуть канитель», писал он во время «Демократического Совещания», «нужно окружить войсками Александринку, разогнать всю шваль и взять власть в свои руки». Центральный комитет, памятуя июльскую «пробу сил» — не согласился, однако, с «Ильичем». Это нимало не остановило Ленина: он переехал на свой риск в Петербург из финляндского своего подполья и приступил, не теряя дальнейших слов, к организации восстания, публикуя о нем, вопреки всяким «стратегическим правилам», целые фельетоны в газете.

Мы, тогдашнее левое крыло социалистов-революционеров, не менее ясно чувствовали напряженное биение революционного пульса страны: в частности, оно сказывалось в быстром переходе к нам от возглавлявшегося Черновым центра (о «правых» с.-р. я не говорю — они давно уже были сбиты

с поля) рабочих народнических организаций и провинциальных, «близко к земле» стоявших партийных комитетов; чувствовали мы биение это и в наших, день ото дня ширившихся, солдатских и крестьянских связях.

С другой стороны, еще яснее, быть может, чем для большевиков, была для нас и степень разложения власти: мы видели, в упор, глазами со ственными, закулисную сторону тех «государственных актов», которые большевики наблюдали только с фасада, на расстоянии: ведь мы, в те дни, были еще в недрах «правящей партии», правда, уже на положении «нетерпимых», под двойным, — полицейским и партийным, — надзором: но все же мы имели вход во дворец Центрального Комитета, на Галерной, мы участвовали, как выборные не отлученных еще от официальной партии организаций, в совещаниях, словом, — могли «видеть» и могли «знать». И поскольку мы видели и знали — «верхи» и «низы» согласно говорили нам об одном: «мартовская власть «кончилась», она — трехдневна и уже смердит»... А поскольку так, значит, — быть власти Советов единой и нераздельной.

Настолько велика была уверенность наша в бессилии Временного Правительства оказать какое-либо сопротивление переходу власти к трудящимся, в лице рабоче-крестьянских советов, что, несмотря на наш блок с большевиками, официально закрепленный 7 октября, после ухода их из «Совета Республики», мы выступили определенными и безусловными противниками Ленинской проповеди восстания. Восстание, — «видимость» насильственного перево-

рота, должна была, с нашей точки зрения, только осложнить, без всякой надобности, положение: форсируя до крови разрыв со всей буржуазией, вплоть до наиболее радикальных элементов ее (т.-е. правых социалистических партий), она неизбежно должна была перевести нас из сферы классовой, т.-е. социальной борьбы — в сферу гражданской, т.-е. политической войны, и... тем самым окончательно загнать движение в тот буржуазный старогосударственный тупик, на порог которого уже поставило нас, во времена Керенщины, начавшееся вырождение Советов. Ибо для того, чтобы выдержать победно предстоявшую, в случае кровавого разрыва, внешнюю политическую тяжелую борьбу, необходим был или коренной перелом, совершенный отказ от государства, — не война, но восстание, — или, напротив того, — в высшей мере твердый государственный упор: им не могли послужить развалины... Решение «безгосударственное» для большевиков было неприемлемо: стало быть, их гегемонией, естественно, предопределялся путь второй. А, тем самым, заранее можно было предвидеть, что, захвативши старое, мещанское государство, придется заняться не разрушением, но укреплением захваченного... укреплением, опять-таки, в тех же традиционных, старо-типных формах; ибо «новое» можно было бы строить лишь на расчищенном, до фундамента самого, месте. И поскольку разрушение в корень было недопустимо, — по соображениям политической и боевой целесообразности, — мы неизбежно вовлекались в заколдованный круг старой, отринутой нами на словах, государственности.

Система Советов — антиполитическая и антигосударственная, по существу своему (в нашем понимании), оставалась, в таких условиях, неосуществимой, «в туман грядущего отгоняемой грезой». А самые партии, совершившие переворот, осуждались на «государственное» вырождение: они неизбежно должны были потерять свою революционную сущность раньше, чем дело дойдет до подлинной, *глубинной* социальной революции.

Ясен, казалось, поэтому вывод: крайним левым нельзя единолично брать, — в данный момент, — власть: это было бы равносильно самоубийству. На черную работу «переходного периода», первоначального разрешения *политических* вопросов, которое дало бы возможность перейти к подлинной советской системе, с ее выклиниванием старых социальных форм — новыми, с ее *преображением быта*, — необходимо было, по нашему убеждению, использовать правые «социалистические партии», под неослабным давлением революционных, руководимых большевиками и левыми эсэрами, масс: они окончательно прикончились бы на этой работе, и на их костях невозбранно установился бы новый, подлинный (я подчеркиваю это), советский строй.

Правильно или неправильно было такое решение этого вопроса, но *тогда* мы думали именно так. А стало быть мы, логически, должны были определенно выступить против Ленинского лозунга немедленного восстания.

Выступления наши казались, однако, нам самим «обреченными». Правда, на митингах солдаты и рабочие хлопали нашим ораторам, но чувствовалось, что хлопают голосу, звуку, а не смыслу

слов: думают же, попрежнему, «свое». И перед этим «своим», — какую силу могли иметь, в те дни, все рассуждения наши «о системе власти», «о приоритете социального», «о переходном периоде» и т. д., в сравнении со столь полнозвучными и понятными всей взбуженной под'емом массе боевыми призывами Ленина.

«Конечно», — писал я в «Знамени Труда» 21 октября, всего за четыре дня до восстания, — «трудно массам, массам нынешним, истомленным сознанием «тупика», устоять перед соблазном лозунга, так просто и так радикально, в буквальном смысле слова, взмахом руки разрешающего все затруднения наши, всю разруху, все «проклятые вопросы». Вы хотите мира? — восстаньте! И завтра же вам будет мир. Вы хотите всемирной революции? — восстаньте! И завтра же всемирная революция вспыхнет грозным пожаром. Вы хотите хлеба? — восстаньте! И завтра же вам будет хлеб. Вы хотите земли? — восстаньте! И завтра же вы станете хозяевами земли. Словом: один короткий миг решимости, нового под'ема, напряжения уличной борьбы, — и мы перебросимся, наконец, за ту заветную грань, около которой, не смея переступить ее, мы беспомощно толчемся на месте, вот уже восемь месяцев».

Перекрыть эти лозунги, нам, левым эсэрам, было нечем. И поэтому большевики были бесспорными и единственными хозяевами положения. Северная область, ее Советы и ее гарнизоны, включая петербургские полки, были всецело в их руках: им был, таким образом, обеспечен и фронт, и ближний тыл предстоящих действий. 10—12 октября С'езд Со-

ветов Северной Области торжественно обещал полную свою поддержку грядущему перевороту. 21 октября экстренное общее собрание полковых комитетов петербургского гарнизона приветствовало уже единогласно принятой резолюцией «образование Военно-Революционного Комитета», первого, боевого органа уже «становившейся» новой советской власти, и гарантировало ему всемерную помощь во всех предстоящих его шагах. 22-го «День Петербургского Совета» проведен был, на многотысячных митингах, с огромным под'емом. В Народном Доме, Троцкий, своей речью, сумел настолько наэлектризовать толпу, что тысячи рук одним порывом поднялись по его призыву, присягая на верность Революции, на борьбу за нее — до смертного конца.

Глазом затравленного зверя следил Керенский за всплесками раскованной вновь, непокорной уже ему народной стихии. С тех пор, как в июльские дни он подписал ордера на арест виднейших «левых» товарищей по партии, он перестал уже стесняться перед нами. В беседах — он зло кривил губы: «чернь!»... Если бы у него были под рукой достаточные силы, с каким сладострастием смотрел бы он, как врезают кровавый след эскадроны в толпах «взбунтовавшихся рабов» — «мятежного охлоса», как шипел из другого угла, не менее его напуганный и не менее его растерянный, селянский министр, говорун и бонмотист Виктор Чернов. Но сил не было: Керенский мог в Петрограде, с грехом пополам, рассчитывать лишь на казачьи полки (1-й, 4-й, 14-й); и притом рассчитывать больше по русской правительственной традиции, чем на осно-

вании каких-нибудь реальных данных. Былой «оплот» Родзянки — юнкерские училища, оставались, правда, реакционными, попрежнему: но они были так невыгодно, в тактическом отношении, расположены.... вперемежку с верными Военно-Революционному Комитету войсками, что их заранее нужно было считать парализованными: В.-Р. К. мог ликвидировать их в любой момент, одним взмахом, если бы они вздумали пошевелиться. Загородные части: Петергоф, Гатчина, Царское Село?... На них восемь месяцев тому назад рассчитывало царское правительство, оттягиваясь к Зимнему дворцу... И обманулось. Мог ли забыть это Керенский, оттягивая, жестом однозвучным, свое правительство и свои войска к Зимнему дворцу в октябрьские дни своего заката?..

Тем не менее, он отдал приказ о выступлении в Петербург наиболее надежным, с правительственной точки зрения, окрестным войскам: ударному батальону, стоявшему в Царском, артиллерии в Павловске, школе прапорщиков в Петергофе. . В ответ на вызов этот, Военно-Революционный Комитет подал, не теряя ни минуты, боевой сигнал.

Как рванулись в дело матросы, гвардейские полки, красногвардейцы... красногвардейцы, особенно! Июль был для них «Нарвой». «После Нарвы — Полтава».

Около 2-х часов ночи на 25-е октября войсками Военно-Революционного Комитета заняты были вокзалы, мосты, электрическая станция и телеграф... Керенский призвал казаков «выступить во имя свободы, чести и славы родной земли на помощь

Ц. И. К. Советов, революционной демократии, Временному Правительству и гибнущей России». Но казаки отказались. «Ежели бы пехота пошла, тогда дело другое. А без пехоты нам идти не с руки...» Они остались нейтральными. Заявило о нейтралитете своем и Павловское училище, ссылаясь на близость Гренадерского полка, уже примкнувшего, по призыву Петербургского Совета, штыки. Подкреплений из окрестностей не прибыло. Не отозвались на правительственный вопль и броневики, которые Керенский, как выяснилось позднее, считал, по какому-то недоразумению, за собою: большая часть об'явила себя за восстание, остальные сохранили нейтралитет. К семи часам утра телефонная станция была уже в руках Военно-Революционного Комитета: аппараты Штаба Петербургского Округа были немедленно выключены и, тем самым, всякое руководство обороной стало невозможным. Керенский бросился в автомобиль, спеша выскользнуть из смыкавшегося уже вокруг него железного кольца. И было время: еще немного, и ему «насыпали бы соли на хвост»: кронштадтские матросы, торопясь к развязке, уже высаживались на Николаевской набережной...

В 10 часов утра Военно-Революционный Комитет обнародовал извещение о состоявшемся перевороте:

«К гражданам России!

«Временное Правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета Раб. и Солд. Депутатов — Военно-Революционного Комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.

«Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства — это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»

В городе, несмотря на переворот, повторяю, «не пахло порохом». От Керенского отрекся даже «Совет Республики», еще 24 октября отказавшийся поддерживать своим «авторитетом» его репрессивные меры против большевистских газет. Гоц-Либердановский Ц. И. К., в последнем, экстренном, ночном заседании своем (на 25-е) только хватался за голову. Напрасно дергал за ниточки режиссер этого марионеточного театра, незримый за кулисами, но ощутимый в лепете эсэров и меньшевиков, Абрам Гоц; Ц. И. К. сделал все, чтобы свести себя, за время Керенщины, к нулю, и теперь пожинал плоды: он явственно сам себе был противен в эту памятную ночь...

Что оставалось еще? Городское самоуправление? Но «отцы города» при первом известии о начавшихся действиях сами поспешили в Совет справляться о намерениях победителя и, получив от Троцкого заверения в том, что им лично не грозит никакой опасности, и если Городской Думе не найдется, как следует ожидать, места в системе советского строя, то конец ее будет, во всяком случае, «конституционным», без эксцессов, — совершенно успокоились и меньше всего, кажется, думали об организации борьбы.

Керенский бежал: «за подкреплениями», — как всегда в таких случаях пишется. Не успевшие последовать его благому примеру, остальные министры метались по городу, ища убежища от шаривших по присутственным местам броневиков, и укрылись, наконец, в Зимнем, занятом тысячью юнкеров и на смерть перепуганными ударницами, вызванными на Дворцовую площадь под предлогом парада, и вместо того попавшими... если и не в «дело» то, во всяком случае, в переделку...

С'езд должен был открыться днем: кворум был давно уже налицо: к утру еще в мандатной комиссии было зарегистрировано 663 делегата, — цифра, превзошедшая все наши ожидания, так как выборы на С'езд шли, во многих местах, под полубойкотом правых социалистических партий, знавших, что станет в порядок дня этого С'езда. Но, несмотря на кворум, заседание не открывалось: большевики хотели до начала его закончить ликвидацию Временного Правительства и поставить, таким образом, С'езд перед непоправимо совершившимся актом.

Фракции С'езда, со своей стороны, тоже не торопились: они должны были обсудить — со всей серьезностью, которой требовал момент, создавшееся положение и дальнейшую свою тактику.

Особенно серьезно и остро стоял вопрос для нас, левого крыла социалистов-революционеров. Несмотря на огромную напряженность «внутренних отношений», партия официально была еще единой: фракция С'езда была одна. И поскольку «на местах» настроение партийных масс было несомненно

левее застывших в февральских настроениях верхов, у нас была смутная надежда вырвать фракцию, а стало быть и партию целиком из рук Центрального Комитета, и выпрямить ее в рост революционных событий.

* *

Я принял председательство во фракции в середине дня; отвлеченный «городскими делами», я лишь к этому времени попал в Смольный. По составу фракция не оставляла желать лучшего: крайних правых — «Зензиновцев», было не больше 15, подавляющее большинство делегатов были определенно за нами, «центровики» колебались, «национальные» социалисты-революционеры — еврейский «Серп» и литовцы, определенно равнялись по левому крылу. К Центральному Комитету партии отношение было явно хмурое. Настолько, что в качестве председательствующего, я мог позволить себе роскошь заставить вызванных во фракцию для доклада представителей Ц. К., — Гоца, Зензинова и др., — дожидаться «своей очереди» добрый полновесный час, продолжая начатые прения, как будто «верхов» и не было в комнате. Фракция не поддержала попытки правых протестовать против такого «неуважения к сану».

Ц. К. и сам чувствовал, что обстановка не в его пользу. Он не принял, поэтому, боя по основному вопросу: об отношении к переходу власти; он даже, если угодно, молчаливо признал его, переместив центр тяжести своих тезисов — на вопрос о составе будущего центрального правительства: нашему требованию однородности его, т.-е. привлечения к нему

исключительно социалистов, Ц. К. противуставлял доводы в пользу все той же «февральской коалиционности», доводы, странно звучавшие в условиях уже состоявшегося переворота, даже для сторонников «Галерной». Но и эту точку зрения цекисты отстаивали вяло: чувствовалось, что на фракцию в целом они смотрят безнадежно и определенно, и твердо гнут на раскол. Тем не менее, вплоть до вечера, я не терял надежды сохранить за нами фракцию полностью: слишком растеряны были наши противники, слишком беспомощно бормотали свои возражения представители правых и центра.

Под вечер мне пришлось на час отлучиться: когда я вернулся в Смольный, правые и левые сидели уже в разных комнатах. И, — ирония судьбы! — во фракции правых (отныне уже официально «правых») председательствовал тот самый Филипповский, с которым мы делили боевую тревогу первой ночи революции.

* * *

В 10 час. 45 мин. вечера, в большом актовом зале, белом от огней огромных, временем отяжеленных, хрустальных люстр, переполненном до головокружения своими и чужими, открылся, наконец, С'езд: оттягивать дольше было незачем. Настроения фракций определились: было известно, что правые социалистические партии, оказавшиеся в ничтожном меньшинстве, со С'езда уйдут, независимо от его программы и тактики; с другой стороны, «боевые действия» в городе шли также к концу: Временное Правительство было обнаружено в Зимнем дворце, дворец со всех сторон обложен, «Аврора»

стояла уже под самыми его окнами, и долго упрямившиеся орудия Петропавловских верков были, наконец, направлены на беспомощные стены катафалка Керенщины... Дело должно было кончиться с минуты на минуту... Не «ударницам» же отвести удар, который вели уже, под прикрытием ружейного и пулеметного огня, Подвойский и Антонов...

Заседание, по чину, открыл, от имени старого В. Ц. И. К. — меньшевик Дан. Во вступительной речи его слышались явственно отголоски панихидного слова, сказанного меньше суток тому назад в «прощальном» экстренном заседании «Таврического»:

«Сейчас не место политическим речам... Наши товарищи, заседающие в Зимнем дворце, находятся под обстрелом...»

Есть в голосе тупая покорность судьбе. И невольно, руша напряженность, побежал по рядам, огибая искрами колонны, веселый смешок. На деле: от слов Дана так ярко представилось, там, в Зимнем, гнездо побледнелых, до белизны их манишек, Кишкиных и Терещенок, на раззолоченных диванах былых императорских покоев, жмущихся друг к другу, зажмурив глаза... Под охраною... женщин! Воистину: и смешно, и противно...

— Предлагаю приступить к выбору президиума...

Аванесов подходит с готовым листком в руках:

«Ленин... Зиновьев... Каменев... Луначарский... Колонтай... Спиридонова... Мстиславский...»

Под далекий глухой удар Петропавловской пушки, я поднимаюсь, вместе с остальными членами вновь избранного президиума, на прогибающийся под тяжестью толпящихся на нем, нетруганный, словно наскоро сколоченный, помост... И сразу, как на скале под пенистым прибоем, волной напряжения, радостного, победного — ометывает, словно в водовороте крутящийся, взмывающий криками и плеском рук, бушующий, праздничный зал.

Каменев сменяет на председательском месте Дана. Тоже радостный, праздничный. И весь он словно «в новом», «парадном», хотя на нем тот же вечный его, бессменный, примелькавшийся за прошлые месяцы, потертый, лоснящийся по швам, пиджак.

«П о р я д о к   д н я:

«Вопрос об организации власти.

«О войне и мире.

«Об Учредительном Собрании».

— Возражений нет?

Снова глухой, далекий удар, от которого скрипит зубами приплясывающий за трибуной словно от нестерпимой, зудящей боли «бундовец» Абрамович.

Какие тут возражения!..

.

— Слово для доклада предоставляется представителю Петербургского Совета.

«Оппозиция» не слушает его: нависая за спиной председателя, она перебивает порядок дня нетерпеливым настоянием внеочередных заявлений. Каменев одинаково благодушно кивает всем, — лукаво посмеиваясь глазами из-под природой насупленных бровей — и записывает, записывает «очередь», под

резкий, чеканящий голос докладчика, под жгучие взрывы рукоплесканий.

Наконец, доклад кончен. Получает слово Мартов: как всегда, упираясь в бок дрожащей, бескровной рукой, весь кривенький и юродивый, бодая взлохмаченной головой упрямое пространство — он требует мирного разрешения начавшегося конфликта. Ему жидко хлопают «свои»; демонстративно широко разводя руками, аплодирует на трибуне кое-кто из «старших» большевиков.

Слово за мной — от имени фракции.

Трудно говорить. Ибо сейчас, перед лицом уже совершенного переворота — какой смысл имеют все — тем же переворотом отметенные в прошлое — соображения и настояния наши. И пусть трижды справедливы наши предвидения — разве не проклят тот, кто потемнит сейчас, хоть малейшим пятном — эту буйную, светлую, под самое небо вздымающуюся радость — со всех концов, со всех фронтов собравшихся сюда — на первый свой день, первый день своей революции... Пусть придет то предчувствие, знание чего жжет сердце: но этот сегодняшний день для них — был. И потому, для этого сегодняшнего дня — моя правда — ложь!...

Трудно говорить, когда так думаешь. Но все же я должен говорить. И я говорю. О том, что с момента открытия С'езда — ему, никому другому, принадлежит суверенная власть; что не время судить — прав или неправ был Петербургский Исполнительный Комитет, собственной волей, не дождавшись властного слова С'езда, дунувший на карточный домик «Временной власти», — но дальнейшее руководство действиями должно принад-

лежать открытому ныне С'езду Советов. Я предлагаю, поэтому, подчинить Петербургский Военно-Революционный Комитет специальному органу, который С'езд немедленно же изберет, из среды своих членов... А до того, ввиду полной, бесспорной небоеспособности тех жалких кучек, которые имеет за собой бывшее Временное Правительство — большинство фракции социалистов-революционеров, от имени которого я выступаю, предлагает немедля прекратить «видимость» боевых действий. Слишком ответственны, слишком велики стоящие перед нами решения, чтобы принимать их — отвлекаясь, волнуясь гулом канонады.

Слово это подхватывает Троцкий. «Кому могут мешать звуки перестрелки? Напротив! Они помогают работать». Что же до самого предложения, то большевики не возражают против включения его... в порядок дня.

Очередь — за «старым» Таврическим. Он начинается — спор «марта» с «октябрем»! Хинчук — от меньшевиков, Гендельман — от правых с.-р., — протестуют «против преступления, совершенного над Родиной и Революцией».

А воздух за старыми стенами дрожит от участившихся ударов... Жутко перезваниваются, вздрагивают в такт им высокие, чванные окна. Там, за колоннами.

Партийные декларации — идеологическая прелюдия: за нею начинается позванивание оружием.

«От имени фронтовой группы С'езда» — кричит, хмурясь и пыжась, с трибуны, главный центурион

«правых» — Кучин — «я заявляю, что фронт полностью против захвата власти...»

..«На...чальство» — презрительно доносится из рядов. «От штаба прислан»... Пересвист, пересмех.

«Ты скажи, кем избран?.. Видно птицу по полету!..»

Но Кучин — самоуверенно, вызовом, прямится над трибуной: «Я избран на С'езде представителей всех фронтов и армий. И от имени армейских комитетов: 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й,12-и,Особой и Кавказской»... — он напрягает голос до высшей, доступной его голосовым связкам, угрозы — «фронтовая группа снимает с себя всякую ответственность за последствия этой авантюры и покидает С'езд. Отныне — арена борьбы переносится на места».

За колоннами яро свищут. Но все же, словно тучею темной перекрыло, на мгновение, белый, светлый, огнями играющий зал...

«Вторая. Третья. Четвертая. Особая...»

И, зорко ловя настроение зала, Каменев тотчас, не медля дольше, выпускает на трибуну уже давно переминающегося сзади нас с ноги на ногу, матроса с «Авроры».

Кто видел наших матросов в боевые дни — тот знает, насколько неотразимо впечатление их литых, волей напоенных фигур, короткого — на смерть, без колебаний, — бьющего жеста, — резким броском режущих воздух, прямых, не знающих изворота, слов. Так и теперь. Едва над кафедрой взметнулась плечистая, гибкая фигура, красуясь волосатой

крутой грудью, под расстегнутым бушлатом — и приветственным жестом закрутились над кудрявой головой Георгиевские ленточки «Авроры» — зал дрогнул от приветственных криков. Исступленно, словно отгоняя накликанный было Кучиным черный призрак — С'езд тянулся к фигуре этой, вставшей перед нами символом победного восстания... «Да здравствует революционный флот!»

«Зимний кончается. «Аврора» стреляет по нем без малого, что в упор!»

«О-о-о!», — стонет, заламывая руки, у самых ног матроса, бледный, с ошалелыми глазами, Абрамович. И, отзываясь на этот жалкий стон — великодушным и неподражаемо-бесшабашным жестом — аврорец успокаивает его, добавляя громким, дрожащим от внутреннего смеха, шопотом:

«Холостыми стреляем».

С них — министров и ударниц — хватит и холостых...

Но снова зловещим шипением прорезают настроение зала новые декларации — «правых». Истерически зовет Абрамович С'езд к Зимнему дворцу, куда решила идти — «погибнуть вместе с Временным Правительством» группа бундовцев, выславшая его на трибуну. Заявляют о своем уходе со С'езда и меньшевики и «правые» — отныне отмежевавшиеся от нас — эсэры, и еще, еще какие-то группы, из «маленьких».

И все резче, все наглее угроза «фронтовыми» и «взрывом народного возмущения», «неизбежного... в итоге этого безумного и преступного шага»... Так формулируют эсэры...

Верят они себе или нет — но они пытаются глумиться: «Радуйтесь, радуйтесь. Ваша победа — на час! Разве не виден перст судьбы уже в том, что Керенский ускользнул от броневиков и пикетов Военно-Революционного Комитета, — один из всех министров. Единственный, которого вам стоило ловить! Но вы его упустили. И пока вы здесь тешитесь хлопанием и свистом — он идет уже на Петербург, он близится уже к его заставам — во главе, спешащих «на спасение Революции» с фронта, верных Временному Правительству, войск».

«Вторая... Третья... Особая... Сколько их насчитал Кучин? Напомнить?.. В одних окрестностях — в Гатчине, в Красном, в Петергофе — за Керенским 40 тысяч штыков. А у вас? — Оглянитесь, подсчитайте свои силы»...

И снова, тем же приемом парируя, психологически, удар, уже захолонувший было «предчувствиями» души более робких, — встает на трибуне — без жеста — спокойный, прямой, сухой, костистый — без нервов, весь из сухожилий и мышц, затянутый в солдатскую защитную блузу — латышский стрелок Петерсон. — Они тронулись уже, фронтовые латышские полки! — Они идут на перейми, в тыл войскам Керенского. И раньше, чем он успеет собрать свой дух, растерянный на бегстве — он окажется между двух огней, недоношенный диктатор... Если уже не оказался...

Ибо — уже теснятся к трибуне, по тихому вызову Каменева — представители Гатчинских войск, войск Царскосельских. Живою, стальною оградой стать на пути подкреплений «временщику» — как стали они в дни свержения царской власти — обе-

щаются, клянутся гарнизоны...

И снова в зале радостно и светло. И сгорбясь, волоча ноги, словно придавленные, выбираются из рядов, жидкими вереницами эсэры и меньшевики... «Март» уходит...

Сзади помоста трибуны, у сырой, свеже выбеленной, пачкающей стены, я вижу прижавшуюся к ней сиротливую, скорбную, словно судорогою сведенную фигуру Мартова. Мутно глядя сквозь скривленные стекла пенснэ на затоптанный, забросанный окурками пол — он все еще упорно и наивно ждет, когда станет, наконец, на очередь его «внеочередной запрос».

Но вместо него — решающая весть: дворец взят. Весь состав Временного Правительства арестован и отвезен в крепость. Самосудов удалось избежать — целы и юнкера, и министры.

Мартовцы торопливо отрясают прах от ног своих и оставляют зал... догонять бундовцев и эсэров... Наша фракция удаляется на совещание. Я снова занимаю место за председательским столом.

Но о чем, в сущности, совещаться? Путь ясен. Партия — до последнего человека — не может, не смеет в данный момент отойти, оторваться от масс. И если — как мы ждем, как мы знаем, — на два непримиримых, смертно-враждебных стана разрежет стеною баррикад Россию сегодняшняя ночь — мы не были бы революционерами, если бы искали, где наше место... Хорошо или плохо: лук натянут...: предатель тот, кто толкнет под руку стрелка: переменять прицел — поздно...

9*

Одно только: в такие дни вести может только тот, кто верит. А стало быть, кто не верит в правильность предрешенного, начатого большевиками пути, —пусть с верхов, от руля сойдет своею волею — «вниз», в ряды, на скамьи гребцов... Так думается о себе, пока идут прения...

И так о себе говорю я, приветствуя, в заключительном слове своем, правильность решения фракции, когда подавляющим большинством голосов она, после недолгого обмена мнений, постановляет остаться на С'езде.

Уже под утро — в 6 часов (дрожит в окнах белесый, хмурый рассвет), принимает С'езд декларацию «рабочим, солдатам и крестьянам»...

«Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, Второй Всероссийский С'езд Советов Р. и С. Д. берет власть в свои руки.

«Временное Правительство низложено. Большинство членов Временного Правительства уже арестовано.

«Советская власть предложит немедленный демократический мир всем народам и немедленное перемирие на всех фронтах. Она обеспечит безвозмездную передачу помещичьих, удельных и монастырских земель в распоряжение крестьянских комитетов, отстоит права солдата, проведя полную демократизацию армии, установит рабочий контроль над производством, обеспечит своевременный

созыв Учредительного Собрания, озаботится доставкой хлеба в города и предметов первой необходимости в деревню, обеспечит всем нациям, населяющим Россию, подлинное право на самоопределение...

«С'езд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, которые и должны обеспечить подлинный революционный порядок.

«С'езд призывает солдат в окопах к бдительности и стойкости. С'езд Советов уверен, что революционная армия сумеет защитить революцию от всяких посягательств империализма, пока новое правительство не добьется заключения демократического мира...

«Солдаты, рабочие, служащие, в ваших руках судьба революции и судьба демократического мира.

«Да здравствует Революция!..»

ДЕНЬ ПЯТЫЙ.

ДЕНЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

(5 января 1918 года)

За весь наш первый революционный год не было, поистине, дня более спокойного, чем день открытия Учредительного Собрания. Быть может потому, что в обычные, «каждодневные», дни, — в обстановке революционного времени, — вставая по-утру, никогда нельзя было знать, чем кончится вечер, какую неожиданность бросит в лицо обезумевшая за эти месяцы судьба. А в этот, давно уже чертою обведенный в календаре, «обреченный» день, судьба была скована силою исторической логики. Неожиданности в этот день быть не могло. Не больше, чем на всяком другом «открытии мощей».

Ибо, поистине, «мощами» стало Учредительное Собрание к январю 1918 года.

Со дня Октября грозовой атмосферой подымающейся борьбы — гражданской, классовой, доведенной до непримиримости, — была окутана новая советская власть. То, что мы ожидали — случилось: на вызов, брошенный октябрьской программой, старый мир мобилизовал уже свои силы, все, вплоть до последнего социального инвалида, способного еще быть поднятым на костыли. И перед задачами

борьбы на задний план отошли все другие задачи, желания, мысли.

«И вот, на заре этой борьбы, в первый, наиболее жгучий, ибо непривычно было еще чувство раскованной до полной свободы классовой ненависти, — период ее, — ударил срок Учредительному Собранию.

«Еще всего два-три месяца назад, когда мы не переступали еще через грань, огромную роль могло бы сыграть это Собрание, так долго бывшее мечтою революционной демократии. Но теперь, когда не мыслится уже более «сговор классов», когда не найдется уже на земле русской силы, которая смогла бы установить «гражданский» мир, слить снова, хотя бы и «скрепя сердце», в «общенациональных об'ятиях» мир труда и мир капитала, или хотя бы мост перекинуть от подымающегося нового мира к старому, опрокинутому нами, — какое значение может иметь Собрание, решения которого заведомо не будут приняты либо одним, либо другим из двух борющихся ныне станов? Ибо, если решения Собрания сложились бы, паче всяких чаяний, в пользу труда — их опротестовала бы буржуазия, а если Собрание решит, как и должно ожидать, в пользу буржуазии — решения эти отринет трудовой народ. «Среднего» здесь нет: ибо, слишком глубоко, — воистину до дна, — вскрылась классовая пропасть...

«Удивляться ли, в таких условиях, что те же петроградские рабочие и солдаты, которые десять месяцев тому назад выдвигали требование немедленного созыва Учредительного Собрания, как вернейшего средства безболезненного переустройства

России, как один из основных лозунгов революции — теперь, с той же убежденностью, во имя той же революции, говорят пророкам Собрания: «Поздно»*).

В создавшихся условиях, Учредительное Собрание бессильно было что-нибудь «решить»: оно было уже политически мертвым. Но от покойника ли ждать «неожиданностей»?

Правда, у покойника этого были еще живые «наследники». Но и их жесты, слова, дела можно было с точностью предугадать и в них не было никаких поводов к волнению, к ожиданию малейшей «неожиданности». Силы их были нам хорошо доподлинно известны. Мы знали, что кроме шипящей по углам обывательщины, да конспирирующего кустарным способом офицерства, другой, сколько-нибудь «массовой силы» за право-эсэрами, являвшимися по численности своей «хозяевами», «Хозяина земли Русской» — не было. Правда, нам было ведомо, что по всем кварталам, по канцеляриям, аудиториям, а отчасти и по заводам, ведется усиленная агитация за то, чтобы покрыть в этот день демонстрациями петербургские улицы; что задолго до дня празднества «открытия» уже прибивали нежные женские руки к древкам право-эсэровских знамен полотнища новых демонстративных плакатов; что будет попытка паломничеством к Таврическому вдохнуть мужество в узкие груди проповедников социального мира...

Но, поскольку демонстрации эти массовыми не могли стать (ибо известны были нам действительные настроения петербургских рабочих и гарнизона), а

*) С. Мстиславский. От февральского переворота до Учредительного Собрания. «Знамя Труда», № 111, 5 января 1918 г.

с другой стороны, ничем, кроме помахивания флажками, проявить себя они также не могли (ибо баррикады не для истеричек) — никаких «неожиданностей» паломничество принести не могло.

Равным образом, и во дворце. Мы знали, что «избранники народа» что-то «про себя» поговорят, что-то «решат», что-то будут голосовать. И разойдутся, конфузясь собственной ненужности.

Такова программа, исторически предначертанная. Мы собирались, поэтому, в этот день на заседание, как в театр: мы знали, что действия сегодня не будет — будет только зрелище.

И день не обманул ожиданий.

Правда, неожиданностью до некоторой степени явилось оцепление Таврического дворца заставами, приведшее в двух случаях к стрельбе по демонстрантам: были убитые и раненые. Тяжелым и резким было впечатление этих уличных столкновений; внове еще была кровь гражданской войны; но, — в существе, — неожиданным факт этот не был; напротив, он был всецело в «психологии дня»... Настолько, что образованную для расследования стрельбы В. Ц. И. К-ом комиссию одинаково бойкотировали, в дальнейшем, обе стороны: и стрелявшие, и оказавшиеся под пулями, — признав, таким образом, события 5-го января столь же мало подлежащими судебному расследованию, как и всякий иной эпизод гражданской войны. Характерно также, что само Учредительное Собрание ничем на происшествия эти не реагировало, хотя в Таврическом дворце стало известно о них задолго до начала заседания...

Открытие его, как водится, затянулось. Фракция правых с.-р., составлявшая подавляющее большинство, явственно «заставляла нас подождать». Что до наших фракционных разговоров, то они были недолги: о чем было говорить перед зрелищем...

Это «зрелищное» предощущение усугублялось уже самим внешним видом приготовленного для учредиловцев зала. «Члены Высокого Собрания» не могли пожаловаться на невнимание: все в зале, от потолка до пюпитров, было отремонтировано заново; тесная, во времена Гос. Думы, трибуна была расширена за счет расположенной за нею комнаты, сзади председательского стола, окаймленный белыми, увитыми колоннами, полукругом подымался второй амфитеатр. Обязательная в торжественных случаях «панихидная», «вечно-зеленая зелень» в кадках (эту деталь мы в числе прочего реквизита полностью заимствовали от прежней общественной церковности) оттеняла красную обивку теснившихся на трибуне курульных кресел. Словом, все было внушительно, «государственно», парадно и... казенно.

От декорации — к актерам и зрителям. Эсэры в большинстве явились, как и подобало им по ролям, в серьезнейших, наглухо, доверху застегнутых сюртуках, все с красными розетками в петлицах, накрахмаленные, торжественные, пробритые до лакированности, — словом, провинциальными именинниками, или, точнее, причастниками. Их ряды заполнили центральные и правые скамьи; между ними и крайними левыми разместились национальные группы.

Конфузливо отжимались к стороне кадетские единицы. Рядом с ними — высокий, прямой и скорбный Церетели представлял своей единственной особой «фракцию меньшевиков».

Лицом к депутатам, за дубовой оградой, окаймляющей трибуну, у подножья ее, расположились лидеры большевистской партии и часть почетных гостей. С верхнего яруса, отведенного представителям рабочих и солдат, серо-черной тучей, взблескивая по временам дулами и штыками винтовок, нависала над залом, туго заполнив переходы и ложи, шумливая и возбужденная толпа. Разителен был контраст между этим рабоче-солдатским, всклокоченным «верхом» и «мещански-интеллигентским», принаряженным, причесанным «низом».

Большевики, выражаясь языком театральным, искони были мастерами постановки массовых сцен. Достоинство отнюдь не малое, и говорю я о нем не в шутку. Когда дело идет о массе, о зрелищной стороне не думает только... романтик. И не характерно ли, что враги советской власти, — белые, черные и желтые — усиленно пытались подражать большевикам именно в этой области: усиленно, но тщетно; их «постановки» неизменно и трескуче проваливались...

В «постановке» Учредительного Собрания большевики, как всегда, оказались на высоте. Зрелище, по стилю своему, требовало «демократизма» — и в церемонии открытия демократизма было показано столько, что большего не мог бы пожелать самый исступленный демократ.

Все помещения дворца — прибранные, чистенькие, были раскрыты настежь перед «большинством»

Учредительного Собрания. На всей дворцовой территории им была предоставлена полная воля — нигде ни намека на преграду, затвор, запрет. Правительства не чувствовалось совершенно. Левые, — т. е. большевики и левые с.-р., бывшие в определенном и, как удачно выразился один из правоэсэровских депутатов — «решающем» меньшинстве, не метались в глаза; правые казались единственными хозяевами Таврического. Бродившие по коридорам и залам советские служащие предупредительно расступались перед сюртуками с красными розетками... Караулы входов и выходов стояли, словно только для виду.

Но, несмотря на всю декорацию эту, незримые, но упругие, твердые, беспощадные чувствовались вокруг стальные тенета, сетью необозримой опутавшие дворец. От лож верхнего яруса, со взблескивавших там штыков — прямо вниз — на штыки «почетного караула», перебрасывались их переборы, — протягиваясь дальше, кольцом, по стенам толпившихся у зала заседания, за креслами трибун, в кулуарах, в ложе печати, всюду, всюду—гимнастерок и блуз. Тенета — не заказом чьим-либо скованные, но жизнью самой, самым смыслом ее — протянутые: мир против мира; мир вокруг мира; капкан...

И «учредительное большинство» явственно чувствовало эти тенета: их парадность, их накрахмаленность лишь ярче подчеркивала беспокойство, — «оглядку», с которой стали рассаживаться они, наконец, за матовыми пюпитрами, на которых... насмешливо белели заботливо заготовленные администрацией дворца, чистые, непочатые блок-ноты и остро отточенные карандаши.

«Левые» — заняли свои места еще раньше. Но среди них — не было видно «лидеров»; не было в зале и Я. М. Свердлова, которому поручено было Центральным Исполнительным Комитетом открыть заседание.

Проходя внутренними комнатами с трибуны в ложи верхнего яруса — для лучшего обзора предстоящего зрелища — я наткнулся на Якова Михайловича в одной из боковых зал: Камков, Карелин и кто-то из большевиков, не помню, стояли перед ним в позе ординарцев перед полководцем: напряженно-почтительны и готовы лететь...

«Яков Михайлович, идите. Все уже давно на местах. Как бы правые там какого-нибудь дебоша не учинили».

«Поспею» — широко и благодушно улыбаясь ответил Свердлов, продолжая инструкции.

Но он — не «поспел». Еще подымаясь по лестнице к верхней галлерее, я услышал неистовый стук крышек пюпитров, выкрики и свист в зале заседаний, немедленно отраженный и подхваченный сотнями голосов наверху. Войдя в ложу, я увидел на трибуне, на председательском месте дюжего, полного, обвислого мужчину, пожилого и весьма земского вида. Он тщетно пытался что-то сказать, подмахивая в такт движения своего кадыка кистью руки, в топырившейся из рукава белой манжете. «Левая» неистово свистела и стучала, заглушая его голос. Эсэры надрывались, стараясь перекрыть шум аплодисментами. Весь зал — сверху донизу — был на ногах.

Использовав отсутствие Свердлова, «большинство» попыталось открыть собрание «явочным» порядком, делегировав для этого по званию doyen d'age депутата Швецова. Но — за шумом и гамом, он никак не мог улучить момент — произнести сакраментальную фразу... Звуковой поединок длился наростая, уже несколько минут. Напряжение росло. Несколько наиболее экспансивных товарищей «левой», поднявшись на трибуну, пододвинулись вплотную к «дуайену», беспомощно и, надо отдать ему справедливость — благодушно гладившему ладонью свободной от жестикуляции руки — массивный председательский звонок. Казалось, одно мгновение, что они — вот-вот, возьмут его за плечи... С право-эсэровских скамей часть делегатов заторопилась на выручку, не переставая на ходу, неистово аплодировать.

Внезапно позади образовавшейся на трибуне группы выросла плечистая уверенная фигура Свердлова. Как всегда в расстегнутой кожаной куртке, отбрасывая движением головы непокорные волосы со лба, Свердлов подошел к столу и, спокойно улыбаясь, взял из рук Швецова звонок. Свист на «левой» и в «ярусах» сменился громом аплодисментов. Швецов поспешно махнул — в последний раз — рукой, прокричал что-то, и, колыхаясь тяжелым телом, сошел с трибуны. Председательский стол мгновенно опустел. Свердлов стоял один, уверенно опираясь своей привычкой к «вождению» собрания рукой на тяжелую рукоять звонка.

Зал стих. Сошедшие с мест депутаты торопливо рассаживались.

«Всероссийский Ц. И. К. С. К., С. и Р. Д:» поручил мне открыть Всероссийское Учредительное Собрание...».

На левых скамьях запевают «Интернационал». Гудят, сливаясь, слаживаясь голосами, ложи. Бесстройно, нерешительно, оглядываясь друг на друга, подымается эсэровское большинство. Молча: поют только два или три: как псаломщик тянет, поблескивая очками, Зензинов. Чернов, соскочив с места, повернувшись к фракции лицом, нервно сигнализирует ей головой и руками, и — демонстративно широко разевая рот, «дирижирует» в такт мерным ударам гимна... Но фракция молчит... Не хочет? или, просто, не знает?

Свердлов оглашает декларацию. За секретарскими пультами — Аванесов и Гр. Смолянский.

. . .

«Ц. И. К. полагает, что Учредительное Собрание поддержит ту борьбу эксплуатируемых и угнетенных классов, которая была поднята против эксплуататоров в октябре...»

Резко дробят тишину размеренные, однотонные, ровно-звучные слова. Свердлов продолжает перечислять по пунктам, что именно, по мнению Ц. И. К., должно было бы декретировать Учредительное Собрание — «поскольку оно правильно отражает интересы народа»... Улыбается, делает паузу — и — под долгие бурные аплодисменты «левых» и «верхов» — объявляет Учредительное Собрание открытым.

. .

Переходим к выборам председателя.

Уже на одном этом вопросе вскрылась трагедия учредительного большинства: ему, фактически, оказалось «некого выбрать». Мы знали, что по этому вопросу во фракции эсэров шли жесточайшие прения, в результате которых выбор пришлось остановить на Чернове, которого, в сущности, никто не хотел, и все более или менее одинаково яростно ругали: ибо для одних он был слишком левым, для других слишком правым, и для всех равно и едино — фанфароном.

Но — в том-то и была трагедия партии: кроме Чернова абсолютно некого было выдвинуть на столь почетный, в ее глазах, «исторический» пост... Ведь не Зензинова же, в стародевичестве постного подвига засохшую фрейлину Великонародничества. Или Авксентьева, русокудрого, бонвивантного, желтоштиблетного и, вместе с тем, столь «селянского», что, — как смеялись в партии, — он даже извозчика на улице нанимал по тем временам, не иначе, как «от имени стамиллионного русского крестьянства». Он был, правда, картинен... хоть на табачную вывеску; но если бы по взглядам своим, так беззастенчиво раскрытым в бесчисленных «словах» и «писаниях» — он показал себя политически, — на уровне хотя бы среднего кадета... И если бы рабочие не гнали его с фабричных митингов, не давая открыть рта. И если бы он не был так позорно провален на последнем крестьянском с'езде...

Кто же еще?.. Абрам Гоц, неизменно ласковый, бархатистый «Абраша» — незримый, ни разу не поддавшийся соблазну словом или жестом подчеркнуть действительную свою роль, подлинный

10*

«рулевой» монархо-республики Керенского? Конечно же — по всем данным он был бы не в пример более подходящим кандидатом для партии, которой он был фактическим лидером, хотя бы по одному тому, что о нем, оставляя в стороне политические и социальные его убеждения, — можно было, не в пример Чернову, сказать словами Иисуса о Нафанаиле: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства».

Но — в том-то и было дело, что Гоц был израильтянином. А лидеры эсэров, — партии, без колебаний посылавшей в подпольном прошлом своем на эшафот и в каторгу евреев-террористов, на крови и на мысли их без колебаний утверждавшей партийные знамена, — считали ныне, став у кормила власти, «вверху горы», — неудобным выдвигать на ответственные посты своих «не русских» сочленов. Не случайно — даже под заголовком центрального органа партии «Дело Народа» партийные лидеры заставили нас, тогдашних редакторов его — выписать старательно рядом с литературными псевдонимами и подлинные имена, чтобы ведомо было urbi et orbi что среди нас — евреев нет. Тем менее, конечно же, мог Центральный Комитет возглавить нерусским именем Всероссийское Учредительное Собрание...

Но из русских партийных выбор был не велик и среди Сорокиных, Гуковских, Ивановых — честнейших и милейших, пусть, — но общественно-безличных — даже и Виктор Чернов мог сойти за махровую гвоздику.

К тому же, он был искони гибок, «селянский министр». И эта прославленная гибкость его, его

искусство шпагоглотания, могли (как знать?!) пойти, быть может, на пользу — в сложной обстановке «учредительной игры», до крайности напоминавшей детскую:

«Что хотите, то купите, да и нет не говорите, черного и белого не покупайте...».

Итак, Чернов. Большевики и левые эсэры выдвинули против него кандидатуру Марии Александровны Спиридоновой: кандидатуру символическую — поскольку Мария Александровна с ее чистой революционностью,— была меньше всего «политиком», «государственным» человеком. Выдвигая ее на пост председателя Учредительного Собрания, мы тем самым подчеркивали лишний раз смысл и значение Учредительного Собрания — в понимании нашем: не как «устрояющего государственного органа, но как органа революционно-«декларативного»... Против политической стряпни Черновых — интегральную, непримиримую революционность чуждой всякого политиканства Спиридоновой.

Исход голосования, конечно, был предрешен. 244 голоса большинства — за Чернова, 153 голоса «меньшинства» — за Марусю. Свердлов, со спокойной и едкой усмешкой, уступил Чернову председательское место. Смолянского сменил Вишняк.

Видимо волнуясь — временами до заиканья — председатель Учредительного Собрания начал свою программную речь, тянувшуюся не менее часа. «Тянувшуюся». Ибо, хотя левые и старались по мере сил и возможности, репликами с мест, посвистыванием и шумом, несколько оживить бледную

ткань его витиевато, по Черновски, «со стишками и цитатками» закрученной декларации — тягучей и монотонной капелью отдавались в зале тщательно закругленные периоды.

Он явственно старался подгримировать свою речь под «левых» до такой меры, что в иных местах, даже у Зензинова, при всей — как бы сказать — неспособности его к страсти, — дрожь явственно проходила по телу. За всю его длинную речь — ни одного выпада против большевиков. Напротив: он настолько сглаживал все углы, что — откровенно говоря — несшиеся с мест реплики должно было отнести непосредственно к личности оратора, а отнюдь не к тому, что он говорил. Если откинуть несколько провоцированных выкриками с мест намеков — робких, прикровенных и бескровных — тезисы его, по существу говоря, могли бы войти в рамки оглашенной Свердловым при открытии заседания «декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа»... Если, конечно, тезисы эти немного притиснуть коленом...

Словом, вышло то, чего, повидимому, и ждало большинство, выбирая Чернова:

«Да и нет не говорите,
Черного и белого не покупайте».

Но большевики меньше всего были расположены поддаваться маневрированию столь ясно не желавшего принять боя противника: речью Бухарина — «к порядку дня», на деле же программной, декларативной речью — незамедлительно же были поставлены точки над «i»: ультимативно, категорически,

«без извива», предложено было Учредительному Собранию заявить о своем выборе — между диктатурой трудящихся со всеми связанными с нею мероприятиями, изложенными в проекте Ц. И. К., или «паршивенькой», по выражению Бухарина, «буржуазно-парламентарной республикой»,... которую прятал за занавеской «веселенького ситца» своего красноречия Чернов... Со всеми, опять-таки, проистекающими из сего выводами.

После речи Бухарина, проведенной в митинговых тонах и явно рассчитанной на «верховую», а не «низовую» аудиторию — на «ярусы», а не на «партер», бледной казалась, несмотря на всю нервность и страстность оратора, речь говорившего от фракции левых эсеров И. З. Штейнберга. Смысл речи этой был краток и полностью созвучен Бухаринской: «не умничайте и не виляйте, а примите полностью оглашенную декларацию Ц. И. К., как программу Учредительного Собрания и всего дальнейшего развития русской революции».

Штейнберга сменил на ораторской трибуне Церетели: его встретили свистом и шумом слева, овацией справа. Свист незаслуженный, итог создавшегося митингового настроения. Ибо Церетели — один из немногих в стане идейных противников наших, с которым всегда приятно бывало скрестить оружие: он всегда бился честно. И теперь, в отличие от только что пробалансировавшего перед нами, по ярмарочному, на канате, со шпагой на носу, Виктора Чернова, — прямо, не прячась, открытым врагом выступил он против декларации Ц. И. К. Как в лучшие свои дни прошлого «мартовского» периода, он говорил уверенно и просто, на-лету

отбивая выпады с мест, сменявшиеся, буквально, каждую секунду. Временами, несмотря на всю сгущенность атмосферы, он даже заставлял себя слушать нетерпеливо рвавшееся к развязке левое крыло. А когда, в ответ на реплику сидевшего у самого почти подножья трибуны Володарского, он сказал, сломав речь, внезапно приглушенным, тихим, но на всю залу прозвучавшим голосом: «Но ваших преступлений, гражданин Володарский, вам не искупить», — жуткой тишиной застыл на мгновение зал, и сам Володарский бледной усмешкой не смог прикрыть непривычного ему, зябкого волнения... Столько было в момент этот в голосе Церетели, — не гнева, нет, этим не перекрыть бы шума, — но глубокой, непоколебимо-твердой веры в правоту своих слов и своего приговора. Из сказанных в этот день в стенах дворца речей — речь Церетели была, несомненно, лучшей и по силе, и по искренности, и по содержательности.

После нее наступил психологический роздых: выступления Северова-Одоевского, Скворцова и Сорокина (не «правого» Питирима, а левого эсэра) прошли тускло.

Список ораторов исчерпан. Скорбно ставит Чернов на голосование два поступивших предложения: требование принять к обсуждению декларацию Ц. И. К., внесенное большевиками, и оглашенное Пумпянским контр-предложение фракции правых эсэров: обсудить первоначально вопрос о мире, потом о земле, потом о власти, а затем об иммунитете Учредительного Собрания и его членов... 146 голосов за первое, 237 — за второе. Больше-

вики и левые эсэры требуют перерыва для фракционных совещаний, в связи с исходом голосования. Чернов, с тою же поспешной предупредительностью, с которой он удовлетворяет вообще всякое требование, обращенное к президиуму, незамедлительно об'являет перерыв.

Он был нужен не столько для решения — «что делать», ибо уход с заседания предуказывался самой логикой «зрелища», но для сговора о том, как сделать, т.е. каким порядком уходить. Логически обе фракции должны были бы покинуть зал заседаний одновременно, одним движением: это дало бы максимальный сценический эффект. Но «политически», с точки зрения междупартийной конкуренции, подобное решение было невыгодно для левых эсэров: они совершенно стушевались бы перед большевиками, сведя свою роль исключительно на роль подголосков. С другой стороны, декларация фракции большевиков носила, естественно, слишком правительственный, слишком «официальный» характер; в конце ее говорилось:

«Не желая ни минуты прикрывать преступления врагов народа, мы... покидаем Учредительное Собрание с тем, чтобы передать советской власти окончательное решение вопроса об отношении к контр-революционной части Учредительного Собрания».

Такая формулировка для левых эсэров звучала несколько слишком круто.

Оговариваюсь: так истолковал я, собственным разумением, отказ левых эсэров от одновременного ухода, на котором настаивали большевики; в самых переговорах я не участвовал.

Столковались фракции на том, что левые эсэры уйдут «через некоторое время».

Оглашение, после перерыва, Раскольниковым декларации фракции большевиков прозвучало приговором: скамьи депутатов обращались в скамьи подсудимых, и даже более того - осужденных. Так воспринял заявление это зал. И сам Чернов, под испытующими, тревогой перекрытыми взглядами своего «большинства» тщетно пытался сохранить приличествующее председателю «Высокого Собрания» спокойствие жеста. Не ожидая ответа большевики стали выходить из зала, со смехом и шумом; за ними поднялись и «почетные гости»: члены наркоматов, члены Ц. К. большевиков. Места за трибуной и по проходу опустели. Уже последние ряды втягивались в левую дверь и проход близ трибуны был совершенно свободен. Внезапно — зал дрогнул. Стоявшие в проходе часовые торопливо перекинули винтовки «на руку», начальник караула бросился вперед, на ходу растегивая кобур револьвера... На скамьях, переваливаясь через пюпитры, несколько товарищей по фракции сдерживали члена украинской делегации левого эсэра Феофилактова*), с револьвером в руке порывавшегося броситься на кого-то из смежных правого сектора.

Казалось, еще секунда и застучат выстрелы. Уже, по всему верхнему ярусу, радостно и злобно вставали под стук затворов солдаты. Но Феофи-

---

*) Феофилактов — бывший каторжанин. Повешен чехословаками в 1918 году, в Канске.

лактова обезоружили свои. Шатаясь, он вернулся к своему месту и тяжело сел, бросив голову на руки. Караул внизу отставил ружья. И, понемногу, глухо ропща, вновь осели всколыхнувшиеся, взбудораженные ложи. Заседание возобновилось.

Штейнберг снова выступил с заявлением от фракции «левых», ультимативно предлагавшей принять ту часть резолюции Ц. И. К., которая касается политики мира. Предложение это, принятое «большинством», как попытка компромисса, не в пример большевистскому обращению, равно как и самый факт неухода левых эсэров, видимо, приободрило правых. «Партер» явственно «отошел», стал прокашливаться и сморкаться; Чернов выпрямил грудь и дал волю словоговоренью.

С передних, с задних рядов потянулись ораторы: декларации, декларации, декларации; по фракциям, по национальностям, по областям.

Под эту голубиную воркотню, оставшиеся левоэсэры явно чувствовали себя нелепо. Даже «сверху», из ложи, это чувствовалось по нервным движениям фракции, по тому, что «рядовые» все чаще теребили «лидеров». Наконец, вклинившись в декламацию деклараторов, на трибуну поднялся Карелин для «очередного» фракционного заявления. Он дословно почти повторил мотивировку ухода большевиков: «Мы удаляемся, не желая покрывать собою то преступление, которое, по нашему крайнему разумению, совершает перед народом, перед рабочей и крестьянской революцией Учредительное Собрание».

В отличие от большевиков, эсэры, не исключая и левых, совершенно никчемные «постановщики»:

так и осталось непонятным, почему они, собственно, задержались и какое такое преступление совершили, от момента ухода большевиков и до момента ухода левых, ораторы, оглашавшие пустейшие декларации.

Одно только: для всех, в особенности для «верхов», их уход прозвучал финальным аккордом похоронного марша. В такой мере, что мои соседи по ложе, и справа, и слева, и по всему ярусу, насколько хватало слуху, искренно изумились, когда Чернов перешел к обсуждению очередного вопроса повестки дня: законопроекта об основных положениях земельной реформы...

— Чего он дурака валяет?..

Тягучая, докучная, дождем осенним, слякотным, падает дробь слов.

. .

Ярусы понемногу пустеют. Уже ночь на дворе. В ложах остаются, по преимуществу, солдаты и матросы, эти домой не собираются: «переспим здесь, куда тут по городу зря шататься».

.

Все тише и тише в зале. Гулко отдается каждый шаг в переходах, каждый шорох в ложе. И сгущается над осужденною залою жуть.

— Слово принадлежит...

Чернов и сам давно уже не слушает, давно уже во власти жути. Он выдает себя демонстративно-деловитым перекладыванием бумаг на председательском столе, притворным, нарочито-внимательь-

ным «штудированием» их. Что, в самом деле, может читать председатель собрания в такие часы?

Оно умирало медленно, без агонии, это Собрание. Кто говорил о разгоне? Какой нестерпимый пошлый вздор! Разве стоило затевать шум над этими «живыми мощами», на глазах у всех обращавшимися в обыденнейший обывательский труп? Смотрите: еле-еле бьется пульс, чуть ощутимой ниточкой... Еще удар... Слабее, слабее... Сейчас совсем погаснет...

Могильно тихо в зале. От нестерпимо-яркого блеска электричества, которым он залит, еще ощутимее, еще мертвее эта могильность. И, незаметно для самого себя, чуть не до шопота снижает свой голос докладчик бесконечного «закона о земле».

— Довольно!

Спокойно и уверенно, как выстрел в упор, режет выкрик этот сверху, из матросской ложи, в которой я сижу, мерный шопот доклада. Испуганно обертывают головы вверх, инстинктивно пригнувшись к пюпитрам депутаты. И столько животного испуга в этом движении, что матрос, рядом со мной перегнувшийся через барьер, гадливо сплевывает прямо вниз, на пустые задние скамьи.

— Ах, ты...

— Довольно!

Чернов поднимает свой седеющий кок и пододвигает звонок ближе. Но не звонит. Он понимает, что звонить сейчас нельзя. По знаку его запнувшийся докладчик возобновляет чтение, а сам он,

аффектируя спокойную небрежность, опускает глаза на все тот же, целые часы уже лежащий перед ним, лист бумаги.

Ему приходится тотчас же снова поднять их: за спиной, равнодушно и властно потрогивая ему плечо, стоит матрос Железняк, начальник караула.

Ложи смолкают. Матрос, чуть-чуть наклонясь, говорит что-то: нам не слышно...

Чернов негодующе-растерянно откидывается на пышном, на широком своем кресле.

«Но... все члены Учредительного Собрания также очень устали, но никакая усталость не может прервать оглашения того земельного закона, которого ждет Россия».

И насмешливо-спокойно звучит, без угрозы, твердый, далеко слышный на этот раз, голос матроса: «Караул устал. Я прошу покинуть зал заседания».

Чернов перегибается через стол, в упор, вопросительно глядя на фракцию. Но фракция, сумеречная, тихая, недвижно прикована к пюпитрам: ни звука, ни знака... И, искоса следя за удаляющимся с трибуны начальником охраны, Чернов говорит скороговоркой:

— Внесено предложение закончить заседание данного Собрания принятием, без прений, прочитанной части основного закона о земле, остальное же передать в комиссию...

— Как?

Соседи-матросы давятся со смеху. «Как, как он сказал, шут нестриженый... Внесено предложение?.. Ах, язви-те...»

А внизу баллотируют. Принято. Чернов оглядывается: караульного начальника в зале нет...

— Предлагаю принять, кроме того, обращение к цивилизованному миру...

Глотая слова, «на курьерских», читает воззвание некто, совсем посерелый. «Верх» терпеливо ждет: веселость, возбужденная «находчивостью» Чернова, еще не спала.

Обращение принято. Железняка нет.

Тем же аллюром предлагается «декларация о мире». Комкая заседание, Чернов, видимо, хочет все же исчерпать повестку. Шелестя на ходу листами декларации, торопливо взбегает по ступенькам к кафедре очередной докладчик...

Снова начинают темнеть солдатские лица в ложах и проходах у трибуны...

Половина пятого...

— Довольно!

Зал вздрагивает вихрем наросших криков. Уже не слышно слов читающего там, на трибуне, видно только, как, словно в судорогах, передергиваются бескровные, тонкие, кривящиеся губы.

— Долой! Довольно! До-воль-но!

Уже не жуть над залом. Пахнуло безумием. Не узнать только что смеявшихся матросов. Теснее сдвигаются брови, отрывистее выкрики... Они обрываются, в нашей ложе, внезапно, броском... и, — расширив зрачки, весь подобравшись, задержав до боли дыхание в груди, ближайший ко мне матрос медленно, бесшумно, выпрастывает зажатую между коленями винтовку...

Сухо щелкнул где-то влево от нас винтовочный затвор...

— Довольно!

А снизу дразнят округлые мишени неподвижных застылых, пригнувшихся, по праздничному рас чесанных голов.

Еще минута, секунда еще...

Но Чернов порывисто отодвигает кресло і выходит торопливой, приплясывающей походкої из-за стола. Взблеснувшие дула застывают на из готовке... «В чем дело?»

— Заседание Учредительного Собрания об' является закрытым.

— Давно бы так...

Шумно и весело, словно у всех от души отлегло перекликаются в ложах солдаты, потягиваясь, раз минаясь после долгого, томительного сидения.. Кто-то зевнул во весь рот... «Берегись, покойника не проглоти».

— А быть бы покойнику... да и не одному — щурясь, говорит, встряхивая головой, словн(отгоняя остатки недавней, еще свежей, еще вспе ненной кровью мысли, молодой добродушный ма трос. — Без малого в грех не ввели...

— А начесали бы нам за это...

— За это-то дерьмо! Кронштадтцев!..

Тесной гурьбой, отжимаясь друг к другу, каі стадо овец, толпятся к дверям депутаты. Все і одной: направо вторая, левая дверь раскрыта также но им, видимо, не хочется разлучаться...

Я жду их у выхода, в вестибюле. Они проходят, попрежнему, тою же тесной, овечьей толпой, стараясь не оглядываться по сторонам, как дети в потемках.

Но кругом — никого: ни в вестибюле, ни во дворе, ни на улице... Пусто.

.

Под руку, оступаясь в снегу, серединою улицы, подальше от ворот и заборов, бредут они, все также, всею фракцией, по Таврической. Молча. Жутко. Беспомощно.

И, обгоняя их, я слышу, как Зензинов (по голосу, — неясно маячит в темноте фигура) говорит соседу, мрачно хлопающему галошами по сугробам:

— Ведь, правда, мы держались с достоинством?

. . .

Последние, зыбкие, убегающие тени февральской революции...

Петербург — Москва.
1917 — 1918 г.

11

ОГЛАВЛЕНИЕ